

Татьяна БЕСПАЛОВА

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПЕРЕСВЕТА



Серия исторических романов

Татьяна Беспалова

Последний бой Пересвета

«ВЕЧЕ»

2014

Беспалова Т. О.

Последний бой Пересвета / Т. О. Беспалова — «ВЕЧЕ»,
2014 — (Серия исторических романов)

Огромное войско под предводительством великого князя Литовского вторгается в Московскую землю. «Мор, глад, чума, война!» – гудит набат. Волею судеб воины и родичи, Пересвет и Ослябя оказываются во враждующих армиях. Дмитрий Донской и Сергей Радонежский, хитроумный Ольгерд и темник Мамай – герои романа, описывающего яркий по накалу страстей и напряженности духовной жизни период русской истории.

Содержание

Об авторе	5
Последний бой Пересвета	7
Пролог	7
Часть первая. Дремучая Русь	10
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Татьяна Беспалова

Последний бой Пересвета

Об авторе

Современная русская писательница Татьяна Олеговна Беспалова родилась 1966 году в Москве, где и живет по сей день.

В 1983 году она окончила обычную московскую школу и поступила в технический вуз. В 1988 году получила диплом о высшем образовании. Другие возможности в её семье не обсуждались. Гуманитарное образование её родители не признавали, а мечты стать писательницей посчитали девическими фантазиями.

После окончания вуза по распределению работала мастером на Очаковском пивоваренном заводе. Но это продолжалось недолго. В 1990 году Татьяна начала заниматься тем, что впоследствии стало её профессией – менеджмент качества и экспертиза в области испытаний и сертификации продукции и услуг. Татьяна в колоссальных объемах писала тексты разных форматов технического содержания. Наконец она почувствовала в себе потенциал написать художественный текст. В 2011 году Татьяна написала первый роман – «Жестокие забавы». Роман написан в жанре мистического реализма и до сих пор не издан.

В настоящее время писательница огромную часть своего времени уделяет литературному творчеству, не оставляя без внимания основную профессию. В том числе, в рамках государственной программы по интеграции Российской Федерации в Организацию экономического сотрудничества и развития, Татьяна активно занимается применением принципов надлежащей лабораторной практики при проведении научных исследований в Российской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.

В 2012 году Татьяна окончила литературные курсы при Московской городской организации Союза писателей РФ (курс Д.М. Володихина). Это событие и определило дальнейшее развитие её литературной карьеры. В том же 2012 году писательница получила первую литературную премию на литературном фестивале «Созвездие Аю-Даг» за футурологическое эссе «Бесстыжие размышления о человеке будущего».

В том же году Татьяна написала повесть «Последний троллейбус», которая была издана в 2013 году в сборнике «Два сердца». Повесть посвящена Москве будущего – огромному, древнему, жестокому, загадочному городу. Настали времена, когда троллейбус номер один стал музейным экспонатом, движущимся по пустынным улицам глубокой ночью. Что происходит на московских улицах после наступления полуночи? Кто ходит по гулким тротуарам? Кто вскакивает в последний троллейбус?

Раздумья о дальнейших путях и способах развития литературного дарования были недолгими. В 2014 году издательством «Вече» был издан первый полноформатный исторический роман писательницы «Генерал Ермолов». Роман посвящен истории основания города Грозный и военным действиям на Кавказе в 1817 году. Генерал Ермолов – легендарная личность, герой Бородинского сражения, дал своё имя роману. Но роман посвящен не только ему. Роман посвящен великолепному Кавказу, людям, населяющим эти места, дикой, суровой его природе и... любви.

Любимым жанром Татьяны продолжает оставаться мистика. Ею задуман цикл фантастических повестей, посвященных невероятным приключениям двух студенток. Первая повесть под названием «Змей Горыныч» уже написана, на очереди вторая и третья.

Татьяна Беспалова – молодой, начинающий писатель, и она полна идей и творческих планов. В настоящее время Татьяна почувствовала в себе потенциал писать военную, приключенческую прозу и намерена его реализовать в полной мере.

Последний бой Пересвета

Пролог

*...Что ждете такой смерти, которая приходит сама собою?
Она бесплодна, бесполезна, общее достояние скотов и людей...
Поэтому когда несомненно должно умереть, приобретем себе
смертию жизнь...*

Василий Великий

Мальчик одним махом, не замочив штанов, перескочил через обмелевшую Любутку, единым духом взбежал по склону оврага. Сухие травы обращались в прах под босыми ступнями. Впереди возвышался бурый частокол соснового бора. Мальчик стремился туда, надеясь под тенистыми сводами найти спасение от неотвязного ужаса, который внушала легкая поступь преследователя, слышавшаяся за спиной. Существо издавало странные рокочущие звуки, будто ласково посмеивалось. Кто это? Волк? Большая собака? Не может быть! Вроде бы незнакомец был одет в овчинный тулуп. И это в разгар лета, в засуху, когда и люди, и звери изнывают от невыносимого зноя. Вроде бы в начале преследования, ещё на околице городка существо двигалось на двух ногах. Тогда почему сейчас бежит на четырех? Мальчик решился обернуться. Преследователь оказался совсем рядом. Даже можно было разглядеть заросшую серой шерстью морду и пронзительно зелёные глаза, а больше ничего. Существо с нечеловеческой быстротой карабкалось следом вверх по склону оврага, по дну которого протекала родная Любутка. На дальнем её берегу, в городке остался разоренный чёрной смертью дом. Там в чумной горячке металась по опустевшим улицам мать. Там на погосте виднелись свежие холмики – могилы деда и бабки, сестёр и братьев.

Наконец мальчик достиг опушки леса. Кроны сосен сомкнулись над головой, под ногами зашуршала иссушенная зноем, коричневая хвоя. Беглец то и дело спотыкался о жёсткие корни вековых деревьев, острые сучья рвали на нём рубаху. Сердце бешено колотилось в гортани, заглушая ударами похоронные звуки чумного набата. Звонарь – дядька Деян – был ещё жив. Мальчик бежал, петляя между стволами до тех пор, пока отчаяние не вынесло его на поляну, заросшую сохлым бурьяном, высившимся в человеческий рост. Здесь можно было остановиться, прислушаться. Лесную тишь нарушали лишь стук сердца да вторивший ему, надсадный гул набата. Неподалёку посреди поляны стояла одинокая липа. Мальчик в изнеможении упал на подстилку из сухих листьев, привалился спиной к шершавому стволу, застыл. Удары набата то затихали, то вновь принимались рвать тишину гулким воем. Звуков преследования мальчик не слышал.

Ему нестерпимо хотелось пить, но он боялся покинуть спасительную сень старой липы. Там пролежал он до сумерек, старясь унять страх, успокоить трепещущее сердце.

Тени деревьев сделались длинными, вечерний ветерок зашелестел сохлыми стеблями травы в тщетной попытке рассеять дневную духоту, когда из зарослей сухого бурьяна появилась лошадиная голова. Затем перед взором мальчика возникла широкая лошадиная же грудь с ремнями сбруи. Лошадь казалась настоящей: сивая морда, ореховые блестящие глаза, влажный нос, белая звезда во лбу.

– Ты чей, малец? – спросила лошадиная голова.

Мальчик облизнул пересохшие губы, ответил еле слышно:

– Ослябетев. А ты будь хоть дух чумной, хоть оборотень, но дай попить прежде, чем примешься меня жрать...

– Я не ем ни свиного, ни телячьего мяса, – отвечала лошадиная голова, позвякивая железным грызлом, которое то и дело перекатывала во рту. – Человечину тем паче не могу позволить себе сожрать. Разве что рыбку... Вот рыбку я люблю. А ты не Андрюхи ли Осяби сынок?

– Папка мой со дружиной в Вильне, у Ольгерда Гедиминовича. А ты, оборотень лошадиный, коли передумаешь и примешься меня терзать-жевать – непременно отведаешь папкиной палицы...

– Ишь ты! Сам едва жив, а грозится! Чую родную кровь!

Перед взором мальчишки, затуманенным смертной усталостью, возникло смуглое, бородатое лицо. Над бровями – белый рубец свежего шрама, на щеке – глубокая отметина давнишней раны, полученной от каленого наконечника стрелы. Мальчик ощутил на языке сладкую влагу.

– Знать, ты либо Яшка, либо Илья, – молвил бородатый.

– Я – Яшка... – мальчик сделал три больших глотка. – А ты, знать, не оборотень?

– Я – оборотень? Что за блажь! Я – родич твой, Пересвет. Не слыхал?

– Беспутный Сашка?

Бородатое лицо склонилось ближе, защекотало щеку усами. Яшка ясно ощутил дух свежего перегара.

– Не-е-е, не чую в тебе гнилой заразы. Это не чумная горячка. Ты здоров! – заявил Пересвет.

При мысли о чуме и о том, чем стал родной городок за совсем малое время, у Яшки померкло в глазах. И поляна, и лошадь, и Сашка Пересвет потонули в зыбком тумане. Влага на губах стала горько-соленой от слёз.

– Я-то жив... Но что с того? И Любатка, и Илюша, и Милана, и Надюша – все перемерли. А мамка, мамка...

– Не реви! Не выгоняй из тела влагу в такую-то жару. Я сбегая до Любутска. Может, и жива ещё Агафья. А если нет, то хоть схороню её по христианскому обряду.

– По городку оборотень бродит! – Яков ухватил Пересвета за рукав рубахи. – Это он, оборотень, в лес меня погнал! Страшный, волосатый, глаз горит дьявольским огнем!

– Один глаз? – уточнил Пересвет.

– Оба! Оба глаза горят неугасимым дьявольским огнем! А морда серым волосом поросла, как у волка!

– Так я заодно угашу ему глаза. Прямо вот этим вот топором! – засмеялся Пересвет, указывая на немалых размеров топор, который покоился позади седла, прихваченный кожаными тороками¹. – Пусть нам одни лишь светила Господни с небес светят неугасимыми огнями!

* * *

Пересвет вернулся под утро. Черней земли, мрачнее тучи, усталый, злой. Молвил сердито:

– Полежай в седло, Яков. Уходим отсюда.

– А как же...

– Не с чем тебе здесь оставаться. Твой дом пуст, отец далеко. Заберу тебя на Москву, на митрополичий двор.

– Мне бы в Вильно, к папке. Зачем мне Москва? Говорят, мор и там.

¹ Торока (ед. ч. «тороко») – ремешки для закрепления поклажи позади седла. Отсюда слово «притороченный».

– Ныне повсеместно и сушь, и мор. А в Вильно я ни ногой. «Беспутный Сашка» подвизается на Москве. Сменял я, Яков, длинную Дрыну на гусиное перо. Пишу книжицы, как Господь надоумит и владыко Алексей благословит.

Часть первая. Дремучая Русь

Из рукописи, сожженной воинами Тохтамыша, потомка Джучи, в году 1382-м от Рождества Христова:

«...Привез Яшку малого на пожарище. Весь город без остатка погорел. По-над Москва-рекой лишь смрадный чад стлался. Заныл, заплакал Яшка Ослябев. Принялся Москву безобразным пепелищем да местом проклятым называть. Сызнова начал в Вильно к отцу проситься. Пришлось усостыжить родича парой увесистых оплеух. Сильно бить стало жалостно – и без моих тумачов малец страхов всяких натерпелся. Весь род его в чумной ров полег. И не известно, жив ли ещё мой двоюродный брат, сын тетке моей, Ефросиньи, – Андрей Осляба.

...Этой же осенью преподобный игумен Сергей по просьбе князя великого Дмитрия Ивановича и с благословения владыки Алексия ходил послом в Нижний Новгород к князю Дмитрию Константиновичу о мире толковать. А также и договор вести о браке князя великого Дмитрия Ивановича с его дочерью, Евдокией. Владыко Алексей надеется с добромудрым участием преподобного игумена Сергея пресечь междоусобные распри между нижегородскими князьями и князем Московским.

Довелось слышать мне, будто преподобный Сергей грозил Фоме затворить в Нижнем Новгороде церкви. Владыко Алексей сомневается в достоверности таких слухов. И вправду, странно и трудно представить себе преподобного старца с гроздьёю ключей в руках, двери храмов от народа затворяющим. Одно владыко знает доподлинно: прощаясь, преподобный Сергей благословения гордому Фоме не дал.

...Великокняжескую свадьбу сыграли в январе 1366 года от Рождества Христова, в Коломне...

...Осенью 1366 года задумал великий князь Дмитрий Иванович строительство кремника каменного. Осрамиться не побоялся. Где взять руки? Где раздобыть средства? А ну-тка весть до Сарая дойдет, что, дескать, Москва надумала от ханских орд отгораживаться? А ну-тка нашепчут ханские наперсники: не берешь ты, дескать, Ваше Срамнейшество, с мальчишки серебра, а он, мальчишка-то, вон на что его тратит! А коль наперсники ханские не потревожатся, так свои ж, русские, поскачут в Орду с наветами да с советами.

Димитрий Константинович, конечно, не поскачет. А Васька Кирдяпа?² А брат Фомы³ – Борис? Эти – поскачут! Эти – помчатся с ябедами да с обидами. А тверичи? А рязанцы? А новгородские торгаши?..

...Скрежещите же зубами, враги Московии! Строится белокаменный кремник, возводятся островерхие башни, восстанет Москва из пепла ещё краше, чем была!..

...Довелось свести знакомство с Михайлой Микулинским. Величавый сей человек был помещен к нам на двор в прошедшую пятницу. Помню, уж сумерки сгустились, наступала ночь, и я завершил вечерний урок с

² Василий Дмитриевич (Фомич) – старший сын князя Суздальско-Нижегородского.

³ Став князем Суздальско-Нижегородским, Фома Константинович нарекался именем Дмитрий.

боярскими недорослями. Яшку сызнава побили. Экий же он маленький, некрепкий. Всё норовит под меч поднырнуть. Никак не удаётся внушить ему первойшую науку воинскую: первым нападай, старайся сразу смертельную рану нанести. Легко раненный враг страшнее оголодавшего волка в зимнем лесу – станет грызть, пока не догрызёт. А Яшке-то всё надобно с хитростью проделать, исподтишка, да всё в пах ударить норовит или под коленку, сзади! Боярские недоросли, подозревая в нем преподлые намерения, изрядно истоптали бедолагу. Ну и я, раб Божий, ему от себя добавил.

Занятия наши прервали митрополичьи стражники, доставившие рекомого выше Михайлу Микулинского. Ученики мои тут же мечи побросали, доспехи учебные скинули. Митрополичьи стражники добришко наше в единую грудку стресли да со двора-то и вынесли. Нам же велели восвосяси убираться, по домам.

Князя Микулинского – мужа станом величавого и лицом заметно красивого – за шиворот на двор вволокли, щедро обидными оплеухами награждая. Рубаху красную на нем в лоскуты изорвали, заперли одного в подклети, козличами воняющей. Мне же передали строжайший указ: нимало не медля на Владычный двор возвращаться. С тем и удалилися, нашим учебным оружием обременённые. И Дрыну мою длинную не преминули захватить. Я же, полную покорность выказывая, сначала головушку, от занятий бранных взмокшую, водою холодной оросил. Потом, для порядка, промочил горло иссохшее сладким мёдом из ковша. Потому как, не промочивши горло да без Дрыны страшно по улицам тёмным до Владычного двора добираться. А ну как нападут тати, чтоб скрутить да в чужую землю в холопы продать? Но коли человек мёду испил, уж не страшится ни тьмы, ни татей, ни вражьих ратей.

Едва подался я к воротам, едва руку на засов положил, услышал рыдания и сетования горькие. То князь Микулинский в вонючей подклети душою надрывался. Громогласно про подлость князя нашего Дмитрия Ивановича да владыки Алексея сетовал. Обоих бранными словами поминал. Попрекал бессудной расправой над ним, русским князем, сыном и внуком прославленных мучеников за веру и родимую землю. Тут я намерение похвальное немедля повиноваться владычному указанию отложил. Позволил себе ковшик мёда страдальцу поднести. Жалко стало мне человека, смертным грехом гордыни одержимого! Пока Михайла мёд превкусный из ковша пил, советовал ему по-доброму при помощи честной молитвы попытаться блаженное смиренномудрие обрести.

Но куда там! Гневом и яростью снедаемый, принялся князь Микулинский мне, простому митрополичьему дворянину, разными страшными карами грозить. Либо принимался награду сулить, если весточку принесу о боярах его, которые, дескать, подобно ему по темницам да вонючим хлевам рассованы. Пришлось страдальцу пустым кулаком по головушке прекрасной вдарить. Так, притихшим, его в подклети и оставил на попечение княжеской стражи.

Всю-то ночь я не сомкнул очей ни на минуту. Ни мед, ни смиренная молитва – ничто не помогло. Неизбывной тревогой терзаемый, томился я о судьбе земли родимой. Но не явилось мне в ту ночь откровения. Одно лишь знаю: сбежит Михайла Микулинский из подклети. А сбежав, станет мстить

за поруганную честь. И месть эта неизбывна будет до последнего часа его жизни...»

* * *

Пленники умирали медленно. Тела их со связанными назади руками застыли на почерневших от крови кольях. Стоны затихли на устах. Все пленённые, оболенские ратники, заявили единодушно, что великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович находится ныне в Москве и в поход выступать не собирается. Какое дело им, деревенским жителям с дальних границ княжества, до дел правителей? Откуда им знать, где ныне находится великий князь? Ольгерд не верил пленным. Вновь и вновь посылал он лазутчиков в московские земли. Все они – и пленные, и свои – доносили одно и то же: сидит Митька в Москве и митрополит Алексей при нём.

Но осторожный Ольгерд не спешил выступать в поход. В прошедшее воскресенье с женою своей, Юлианой Александровной, отстоял молебен в храме, причастился святых тайн. А ныне? Ныне второй день пошёл, как умирают на кольях оболенские ратники, взятые Ослябей и его дружинниками в плен минувшим понедельником.

Ослябя с самого начала пытки принял решение не покидать их. Так и сидел под священным дубом, положив меч поперёк колен. Нагретый солнышком, ствол векового исполина удобно подпирает спину. В высоких сапогах хорошего сафьяна казалось нежарко даже в летнюю погоду. Красная льняная рубаша тонкого полотна тоже давала телу дышать. Над головой, создавая густую тень, шелестели зрелой, предосенней зеленью причудливо изрезанные листочки. Тут же, под боком, Ослябя держал мех с водой, походную котомку и длинный обоюдоострый нож болгарской работы – подарок отца.

Литвины спали неподалеку. Разлеглись вокруг широкого ствола соседнего дуба, положили бритые головы на выпирающие из травы толстые корни. Видно, сладко нехристям спалось под сенью священной рощи. Ослябя видел большой гранитный алтарь, огороженный невысокой стеной, сложенной из грубо обработанных камней. Там, в небольшом углублении, плескалось пламя – священный огонь волхвов. Неподалеку от алтаря, на выложенной деревянными кругляками площадке, на кольях умирали пленники.

Один из литвинов, Довмонт, доверенный боярин и оруженосец Ольгерда Гедиминовича, не спал вовсе, а лишь притворялся спящим. Ослябя чувствовал, как бросает на него литвин недобрые взгляды. Да и чему удивляться? Место ли православному на языческом капище? Уместно ли ему, крещёному, прийти с мечом в священную рощу? Или надеется спасти соплеменников от пытки? Облегчить смертные муки? Зачем? Ослябя неспешно вытащил из меха дубовую пробку, поднес сосуд к губам, сделал несколько шумных глотков.

– Что у тебя в меху-то? – не выдержал Довмонт. – Не вино ли?

– Вода... – ответил Ослябя, утирая губы.

– Ой, что-то и у меня в глотке пересохло, – Довмонт приподнялся. – Поделись с боевым товарищем, боярин!

– Погоди... – Ослябя вытащил из котомки деревянную кружку, заботливо обтер льняной тряпичкой, плеснул воды из меха, подал товарищу, прошептал тихо:

– Пей, Довмонт, и усни ж ты, наконец.

– И вправду, вода! – фыркнул Довмонт, выплескивая остатки на траву, под ноги. – Не понять тебя, Ослябя. Как можно трезвыми глазами второй день на эдакие муки смотреть? Сидишь под этим дубом без еды, без вина. Или сам корни пустил?

Ослябя медленно поднялся на ноги. Широкий, бороздчатый меч с узорной крестовиной казался продолжением его руки. Андрей Ослябя держал оружие перед собой, немного

на отлёте. Лучики солнца, проникая сквозь густую крону священного дуба, играли на обнаженном лезвии.

Ослябя был высок и сухощав. На костистом лице блистали неземной синевой пронзительные глаза. Иссиня-чёрные бороду и усы подернула ранняя седина.

Довмонт отвёл взгляд, прикрыл глаза ладонью, прячась от солнечных зайчиков, разбежавшихся в разные стороны с лезвия Ослябева меча.

– Что-то спать охота приспела, – пробормотал литвин. – Я прилягу, сосну, что ли. А ты, Ослябя?

– Я дождусь Криве. Довершим дело.

* * *

Криве вступил в священную рощу на закате. Верховный жрец был облачен в длинную, до пят, тунику из грубой некрашеной шести и багровый, подбитый волчьим мехом плащ. Шею и запястья Криве обременяли широкие цепи, увешанные разновеликими амулетами. Волны его выбеленных временем волос достигали середины спины. Голову верховного жреца венчала корона, сплетенная из ветвей дуба. Правой рукой верховный жрец опирался на черёмуховый посох с резным навершием в виде волчьей головы. Левая рука сжимала длинную палку, обмотанную просмоленным конопляным волокном – священный факел. Ослябя скользнул взглядом по застывшим чертам тонкого лица Криве и отвернулся. Бросил сквозь зубы:

– Не жарко ли тебе, почтенный?

– Ты всё ещё здесь, христианин? – откликнулся Криве. – Твой бог разрешает тебе смотреть на мучения единоверцев?

– Я здесь по приказу князя Ольгерда. Несу службу, чиню допрос.

– Твоя служба исполнена, русин. Ступай себе. Я сам довершу обряд. Пленники покинут нас, очищенные священным пламенем.

И Криве поплыл по-над влажной от вечерней росы травой к священному дубу, туда, где, издавая дружный храп, дрыхло славное литовское воинство.

Ослябя снова расположился под дубом. С усмешкой наблюдал он за тщетными попытками жреца выловить литовских воинов из омута беспробудной дремы. Ни удары посоха, ни чувствительные пинки тяжелых жреческих сапог, ни громовые призывы – ничто не помогало.

– Так спят крепко, словно они мертвы, – изумлялся Криве. – Спят на закате, словно выжившие из ума старцы. Позабыли, что сон на закате не угоден богам!

– Не буди их, не зови подмогу, – хмуро молвил Ослябя. – Я помогу.

И он, опираясь на меч, поднялся на ноги. Криве, ни слова не говоря, указал ему на бадью с каменным маслом, стоявшую неподалеку от пыточного помоста. Сам жрец отправился к алтарю, туда, где между испещрённых рунами валунов трепетало оранжевыми сполохами пламя неугасимого огня.

Ослябя не стал слушать заунывных песнопений жреца. За годы службы при дворе Ольгерда он научился понимать слова жематийского и аукштайтского⁴ наречий, обвыкся с нравами литовского двора. Вера Христова была для великого князя Литовского Ольгерда Гедиминовича набором странных ритуалов, которые он, смотря по обстоятельствам, исполнял с большим или меньшим рвением. Так же равнодушно относился литовский князь и к волхованиям Криве. И Ослябя притерпелся ко греху, бестрепетно переступая пределы языческого капища. Сам себе потом назначал епитимью. Бывало, бил себя батоном, надеясь

⁴ Наречия литовского языка.

телесным страданием унять душевную боль. Бывало, прикладывал к обнаженному плечу раскаленную докрасна головню. Вдыхал со странным наслаждением запах паленой плоти, пугая зрелищем напрасных мук своих любутских дружинников. Земляки считали своего воеводу человеком замкнутым, упрямым и неумолимым. Боялись неукротимых вспышек гнева, удесатерявшего его телесную мощь, и без того немалую. Любили за храбрость и бережное отношение к любутскому воинству. Уважали за преданность вере Христовой и погибшей от морового поветрия семье.

Двоим пленникам Ослябя проткнул горло. Действовал быстро, не глядя жертве в лицо. Привычным движением колол острием клинка в основание шеи, под подбородком. Потом лил каменное масло⁵ на макушку. Черная, остро пахнущая жидкость смешивалась с теплой кровью, пряча от внимательных взглядов Криве следы Ослябева милосердия. Третий пленник был в сознании, отчаянно шлепал пересохшими губами, будто молился.

– Утихни. На меня молиться не след, я не святой Пётр, – усмехнулся Ослябя.

Но этого, последнего, пленника колоть в шею не стал. Выверенным движением вонзил клинок плащия, между рёбер, прямехонько в сердце.

А Криве уже шёл к нему с зажженным факелом.

– Не дожидаться ли князя? – хмуро спросил Ослябя.

– Его Величие занят... – Криве смежил веки.

Ослябя застыл, наблюдая, как вздымаются полы жреческого плаща. Криве, отбросив в сторону посох, совершал огненный танец. Тот танец, что совершают жрецы Пяркунаса – бога огня, готовясь принести ему кровавую жертву. Верховный жрец двигался по кругу, постепенно приближаясь к насаженным на колья. Тела жертв были сплошь покрыты антрацитовыми потёками каменного масла. Ослябя прикрыл глаза. Он слышал мерный звон жреческих амулетов, треск горящего факела и заунывное пение, похожее на вой снежного бурана. Наконец загудел большой огонь – это Криве поджог тела жертв. Ослябя открыл глаза.

Каменное масло горело ярко и чадно. Мёртвые тела корчились в огне, словно пытаясь принять участие в последнем сакральном танце. Криве пал на траву. И белые его волосы, и просторные одежды разметались по траве. Рядом беспомощно догорал факел. Так лежал он лицом вниз, совершенно неподвижно до тех пор, пока сумерки не превратились в ночь.

Ослябя проведаль литовское воинство. Прошептал удовлетворенно:

– Проспятся до утра, дурни.

Ослябя проведаль и Криве. Казалось, и жрец уснул тем же странно крепким сном, что и его соплеменники. Ослябя поджег остатки каменного масла, приторочил к поясу ножны, огляделся, прислушиваясь.

– Сдается мне, боярин, что пленники лишились жизни ещё до окончания ритуала, – прошептал Криве, приподнимая голову. – Сдается мне, боярин, что это твоих рук дело.

– Очнулся, родимец. И то дело – ночь на дворе! Экие вы, литвины, странные – днями дрыхните беспробудно, ночами колобродите...

– Ах, Ослябя! Ах, боярин! – приговаривал жрец, поднимаясь с травы. – Без веры, без дома... Только меч – брат твой, только чаща лесная – дом твой, темны твои мысли, жалостью истекает твоё сердце. Пагубной, позорной жалостью, влекущей кару великих божеств...

– Экий ты выдумщик, Криве! – прервал его Ослябя с досадою. – Не я ли изловил пленников на границах Московии? Не мои ли дружинники пригнали их в княжеский лагерь? Я исполняю повеления Ольгерда, как присягнул. И подвержен лишь княжескому суду. Мне нет дела до твоих богов.

⁵ Каменным маслом в старину называли нефть.

Ослябя отошел от пыточного помоста подальше, под сень священного дуба. Невыносимая вонь горящей плоти, смешанная с едким запахом каменного масла, проникала через поры кожи, отравляя внутренности.

– Подозревать тебя в измене нет оснований, – продолжал Криве. – Ты отважный и хладнокровный убийца, без веры и без сомнений.

– Зачем ты смущаешь меня, Криве? Сам знаешь – убью без сомнений. А нехристя – тем более... – усмехнулся Ослябя. – Ну что, жрец, действие закончено? Сегодня мы без обычной торжественности и многолюдства, сам-друг справились.

Он подобрал с земли полупорожний мех и котомку.

– Судьба твоя уж соткана семью богинями! – прошептал ему вслед Криве.

* * *

Вкруг княжеских шатров горели огни. У коновязи Ослябя приметил чужих коней – нездешнюю, богатую сбрую. Приметил ало-золотой флажок с княжеским столом и шапкой Мономаха на зеленой подушке – герб Тверского княжества.

Ослябя медленно брел, разыскивая во тьме, разгоняемой лагерными огнями, свою палатку, и прислушивался к разговорам у костров, чтобы понять, зачем приехали тверичи. Так удалось узнать, что ещё засветло примчался в лагерь большой отряд. От самого Микулина скакали почти без роздыха. Сам Михайла Микулинский, младший брат Юлиании, супруги Ольгерда Гедиминовича, во главе отряда. Ныне все в великокняжеском шатре расположились, пируют.

Литовское воинство бурлило. Ждали скорого похода, веселья, добычи. К месту ли тут Ослябя, усталый, голодный, пропахший смрадным духом горелой человечины? А вот и стан любутской дружины.

– Где дневал, детина? – встретил его вопросом Лаврентий.

Старый любутский дружинник Лаврентий, прозванный Пёсья Старость за привычку то и дело украшать этими двумя бранными словами свою речь, восседал на березовой колоде. Голый по пояс, он правил точилом огромный обоюдоострый нож. Над чахлым костерком, в чане булькало густое варево, наполняя ночной воздух пряными ароматами мясной похлебки.

– Пленников на тот свет провожал...

– Ах ты! – с неудовольствием произнёс Лаврентий. – Пёсья старость! Кровищи давно не видал? Чем это смердит? Снова дьявольские костры возжигали?

Лаврентий воткнул клинок в землю. Тревожно огляделся по сторонам. Там в полумраке тонул воинский лагерь.

– Три гроша ныне за ягненка отдал, пёсья старость. Дорого! В прошлый раз на полкопейки меньше за большего козленка взяли, и то было дорого. Надо, надо в поход, детинушка! Сидим тут, словно мухоморы под березой. Дух воинский дружка на дружку трагитим. Ныне Василий с Мануйликом Мужилой передрались. Разкровянились, рассобачились, словно псы...

– Мужилу выдрать повелеваю... – рассеянно вставил Ослябя.

Он уже сдернул пропахшую смрадом языческого капища рубаху и протирал тело влажной тряпицей.

– Зачем драть, детинушка? Пусть враг Мануйлу выдерет, пусть ему копьем по затылку достанется! Я тебе вот что скажу: от величия Ольгердова гонец прибегал. Тоже мне гонец! Кривобокий Люська-скопец. Тонким голосом верещал, будто Его Величие бояр своих на совет созывает. Нынче ж ночью! Я Люське медку подлил. По твоему рецепту медок, детинушка! Люська мне и выболтал, дескать, Их Величие в поход собирается. Война, детинушка, это тебе не пёсья старость. Это прибыль! Это удача!

– Довольно суесловить, Лаврентий. Подай свежую рубаху и доспех! Раз зван – надо идти. Послушаем, что микульчани нам скажут. Зови отрока! Пускай Васька разукрашенной рожеею великокняжеский шатер почтит...

* * *

К великокняжескому шатру они успели вовремя. Там, перед входом, уже выросла груда разукрашенных гербами щитов и мечей. Рядом возвышался шалаш, составленный из копий. Цвета флажков на их навершиях были ясно различимы в свете высоких костров, окружавших великокняжеский шатер. В литовском воинстве придерживались стародавней традиции – на совет князя и воеводы являлись безоружными и с обнаженными головами.

– Гляди-тка, дядя Андрей, – шепнул Ослябе Васька. – Это ж Захария Останков.

Ослябя и сам признал в некрепком малом, который встретил их при входе в шатер глубоким почтительным поклоном, ближнего дьячка Дмитрия Брянского.

– Прими шелом, Захария, – сказал Ослябя, обнажая голову. – Давно ли прибыли к войску?

– Да ныне фе, ныне пофле полудня и прибыли! – отвечивал Заряхия, щеря рот в беззубой улыбке. – Фам княфенька уфе в фатре. Батюфку подфыдает. И братец ихний, ваф тефка тоф там!..

Зажженные факелы разгоняли сумрак шатра. Ослябя и Васька Упирь, ступили под низкие своды. Устилавшие пол звериные шкуры заглушали топот множества ног, курящие благоговения устранили обычные запахи конского пота и немытых тел. Княжеское место располагалось, как обычно, напротив входа. На нём сейчас устроился один из малолетних сыновей княгини Юлиании, любимец Ольгерда, Ягайло. Мальчишка играл деревянным, изукрашенным причудливой резьбой мечом и поглядывал на старших братьев, князей Полоцкого и Брянского. Рядом с ними, на устланных коврами скамьях расположились воеводы Ольгердова воинства, командиры «стягов».

Жена Ольгерда находилась тут же, в шатре. Её суровое лицо блистало в полумраке матовой белизной.

Рядом с княгиней расположился огромного роста статный человек, лицом чрезвычайно схожий с княгиней. Незнакомец полностью снял с себя доспех, словно чувствовал себя в полной безопасности, как дома, под защитой родного кремника. В вырезе богато вышитой рубахи, на мощной груди блестело желтым металлом распятие. Не этого ли человека доспехи, богато украшенные чеканкой и чернью, сложены в стороне, под войлочной стеною шатра? Не его ли меч, с украшенной самоцветными камнями крестовиной, оберегал, словно священную реликвию, разодетый в пух и прах отрок? Незнакомец бросал горделивые взгляды на первородных сыновей Ольгерда и подозрительно, с недоверчивым интересом – на любутского воеводу и его спутника. Княгиня же ласково гладила незнакомца по руке, «любезным братом, Михаилом Александровичем» величала.

– Отошли отрока, боярин, – сказала тихо Юлиания, обращаясь к Ослябе. – Здесь будут вершиться семейные дела. Лишние уши ни к чему.

Василий безмолвно отступил за полог шатра, а Михаил Александрович, обращаясь к сестре, продолжал прерванную речь. Он говорил тихо, смотрел исподлобья, и Ослябя ясно видел злые слёзы в глазах его.

– Мы с тобой из Большого Гнезда Всеволодова. В нас кровь Рюриковичей. А ты, сестра, – мать будущего великого князя Литовского, потомка великого Гедимина! Кровь наших предков вызывает к отмщению! Нам ли терпеть поругания от Митьки-недоросля? Как снести страшную обиду? Десять дней провел я на пустом дворе, один, без бояр! Даже про-

стой воды вдоволь не получал. На счастье мое, явились к Митьке послы из Сарая, усовестили подлеца.

Михаил Александрович перевел дух.

От Осляби не ускользнуло выражение холодного пренебрежения на лицах старших сыновей Ольгерда. Плечом к плечу, вперив взоры в непочатые кубки, Андрей и Димитрий молчаливо внимали жалобам мачехино брата. Оба – поседевшие в походах, опытные полководцы. Андрей Ольгердович, огромный тяжелый, с лицом, изуродованным шрамами, и его единокровный брат Дмитрий, не высокий и не низкий, не многословный и не молчаливый, не приметный, но премудрый.

Ослябя уселся на край скамьи, рядом с соратниками, подальше от великокняжеского престола.

Чья-то проворная рука откинула полог. Ольгерд вошёл стремительно и бесшумно, окинул ястребиным взором собравшихся. Кто бы мог подумать, что великий князь Литовский и Русский недавно разменял восьмой десяток? Прямая осанка, цепкий, внимательный, ясный взгляд из-под густых нависших бровей, тяжелая, неловкая поступь всадника, половину жизни проводящего в седле. Пышные кудри, усы и бороду лишь первым снежком припорошило. На Ольгерде Гедиминовиче не было доспеха и меча при нём не было – под расшитым шелками синим плащом, поверх кафтана виднелась лишь узорчатая перевязь с длинным кинжалом. Князь окинул взглядом собрание. Всё ли здесь? Все откликнулись на зов? Все ли выказали повиновение его воле? Вот жена – печальноликая Юлиания, плодовитая и покорная тверская княжна. Вот её высокородный брат, оскорблённый малолетним Митькой Московским – гневливый гордец, обидчивый, памятливым, непримиримый упрямец. Вот бояре – русские и литвины, верующие и суеверные, но равно присягавшие, целовавшие крест. Вот старшие сыновья от витебской княжны Марии Ярославны – опытные бойцы, проверенные многими боями полководцы, опасные противники. Вот разряженные в шелка и бархат вельможи – тщеславные и расчетливые сребролюбцы.

Ольгерд обошёл шатёр по кругу. Присутствующие, поднимаясь с мест, склоняли головы перед князем. Под заунывное звучание волынки⁶ бледный отрок высоким голосом выводил печальную песню на жемотийском языке.

– О чем слёзы проливаешь, брат Михаила? – спросил Ольгерд, останавливаясь перед шурином.

Михайло Александрович молчал, малодушно опустив очи долу. Тёмно-русская борода его намокла от слёз, глаза были красны.

Ольгерд отвернулся, пряча насмешку, и приблизился к княжескому месту. Ягайло поднялся навстречу отцу, схватил за руку, ласково уткнулся лбом в меховую оторочку рукава. Единым мановением Ольгерд скинул с сидения шелковые подушки, уселся.

– Позволь сказать слово дочери и внучке князей Владимирских, – молвила Юлиания.

– Говори, жена!

На мгновение лёгкая тень нежности осенила черты великого князя, суровые складки возле рта разгладились.

– Я вне себя, драгоценный супруг! – начала княгиня, привлекая к сердцу неугомонного Ягайлу, ссаженного отцом с великокняжеского места. – Не сон ли это дурной? Сам посуди: прискакал ныне мой брат – сын и внук прославленных мучеников за православную веру и Русскую землю. Прискакал с обидой на сердце. Надеялся на суд праведный, а получил мытарства невероятные! Московские бояре насочетовали дурное Митьке малолетнему. Принял Митька сторону нашего дядюшки, Василия Кашинского⁷ и князь-Еремея⁸.

⁶ Волынка появилась на Руси ещё в XIII веке.

⁷ Василий Михайлович, князь Кашинский – дядя Михаила Александровича.

– С Митьки восемнадцатилетнего какой спрос? – молвил удручённо Михаил Микулинский. – Но митрополиту я верил. Почитал Алексия, словно святого, надеялся на праведный суд, а он... заточил меня, обесчестил! Не менее седмицы в подклети держал, на хлебе и воде...

– Хлеб и вода – достойная пища хорошего воина, – усмехнулся Ольгерд. – Конечно, перед битвой или турниром неплохо бы и мяса вкусить. Но можно и без мяса немало дней счастливо прожить.

– Митька отдал им Тверь! – Бледное лицо Юлиании покраснело от гнева, очи блеснули слезами.

– Отдал Тверь! – возопил княгинин брат единокровный.

Вскочил Михайла Александрович, и Ослябя почуял, как напряглись литовские бояре, а Андрей Полоцкий так и вовсе вскинулся. Принялся руками по дородному чреву шарить. Но вот незадача! Оружие-то пришлось, по местному обычаю, снаружи оставить! А Ольгерд-князь сидит себе на месте, недвижим, словно гранитная скала. Лишь взглядом стальным блуждает вослед неугомонному Ягайле. Молвит сурово, к старшему сыну обращаясь:

– Зачем вскочил на ноги, князь Андрей? Если слово имеешь против княгини или брата её, говори!

– Имею слово за старца Алексия, – голос Андрея Полоцкого был подобен раскатам дальнего грома. Князь говорил тихо, с немалым трудом удерживая гнев.

– Почитаю святую православную церковь более матери родной. Почитаю митрополита Алексия... – князь Андрей запнулся.

– Продолжай, старший сын, продолжай, – молвил Ольгерд, неотрывно глядя на взмокшего от гнева, побагровевшего микулинского князя.

– ...почитаю митрополита Алексия человеком беспорочным, святой жизни и неукоснительной праведности!

– Сам Тверь возьму, сам! Нешто отец мой даром в Орде мученический венец принял? Не посрамлю родовой чести... – хрипел надсадно Михайло Александрович.

По светлому лику Юлиании серебристыми ручьями лились слезы. Ягайла притих, отложил в сторону деревянный меч, любимую свою игрушку, и приник к материнским коленям.

– И я почитаю православную веру, – проговорил Ольгерд. – Свидетельство тому – и ты, Андрей Ольгердович, и единокровные братья твои. А москвиты... что с них взять? Дикий народец – лесовики, неумелым недорослем управляемые. Поучим их уму, бояре? Нам ли, ханское воинство бившим, не справиться с лесными дикарями? Остынь, брат Михаил Александрович. Успокойся и ты, княгиня! Не оставим в унижении родичей.

Загомонили, заволновались бояре, хмельным мёдом возбужденные. Заскрипели-зазвенели кольчужные кольца и цепи золоченых доспехов. Грузно осел Андрей Полоцкий на лавку великокняжеского шатра, осушил одним духом полупорожний кубок и ещё меда потребовал. Жарко стало, муторно, волнительно. Принялся судить-рядить совет великокняжеский, когда да какими силами в поход выступать. Препирались, ссорились. Не один раз ещё Михайла Александрович с места вскакивал. Благовестил, слезами упивался. Несметные полчища московского воинства, к вожделенной Твери подступившие, описывал. Не хуже былинного песнопевца об опустошении родного Микулина рассказывал. На Дмитрия Ивановича Московского проклятия призывал. Не один раз на горькие унижения великого рода своего сетовал. Так засиделись до утренней зорьки. Утомился и уснул неугомонный Ягайло. Удалилась в свой шатер благородная княгиня. А Ослябе всё чудилось, будто прячет Ольгерд Гедиминович в усах ехидную улыбку, горькие жалобы родственника слушаая. Потешается владыка княже-

⁸ Князь Еремей – родич тверских князей.

ства Литовского и Русского над микулинским родичем. А может, и того хуже, над верой православной надсмехается?

* * *

– Постой, Андрюха! – донеслось из темноты.

Ослябя обернулся. Так и есть, Дмитрий Ольгердович прямехонько к нему поспешает. Огромный, на голову выше отца, могучий, князь Брянский и Стародубский слыл отважным бойцом и истовым приверженцем православной веры. Следом за ним шагали пешие дружинники брянского воинства. Первые лучи восходящего солнца блистали алым на отполированных наконечниках их копий.

– Чего насупился, воин? – спросил князь Дмитрий. – Или не рад встрече с земляками? Или не жаждешь вестей с родимой Любутки получить?

– Каких вестей мне ждать, княже? Худшее уж свершилось. Пусто мне в Любутске. Да и здесь не люблю.

– Зачем так говоришь? – князь Брянский испытующе смотрел на него из-под низкого налобья шлема. – Третий год ты не снимаешь доспехов. В каждой битве отличился. И стяг твой – лучший в отцовом войске... Неужто забыл про землю родную? Не думаешь ли вернуться, мирной жизни вкусить?

– Не к чему мне возвращаться... Ты отпустил бы меня. Смотри: уж заря разгорелась. Надо дружину к походу готовить.

– Об этом не спеши заботиться. Отец решения не принял. Увидишь, он небыстро размышлять станет. Конечно, микулинский князь не напрасно жалобы расточал. Да и мачеха моя толику яда к словам братниным ещё добавит. Похода на Московию не миновать. Но ты, Ослябя, успеешь ещё коня из родимой Любутки напоить, если пожелаешь.

– Невместно мне в такую пору войско покидать...

– Послушай!.. – разволновался Дмитрий Ольгердович. – Отец пошлёт вестника к брату, Кейстуту. Пока ещё посланец обернется, пока Кейстут хитромудрый выгоды и потери просчитает, пока его войско нас нагонит, осень минует и зима наступит...

– Ты сказал бы прямо, княже, зачем тебе надобно, чтобы я в Любутск направился? Нечего делать мне на Брянщине! Семья моя уж третий год как повымерла вся, терем сожжен, челядь рассеялась. Дружина – вот моя семья, бранное поле да тайная вылазка – мой дом.

– Слышал я, Ослябя, что ты большой мастак за пленными на Московию ходить, – скривился Дмитрий. – Не любишь лесной люд. Я так слышал: братаник⁹ твой, Сашка Пересвет, на Москве, при митрополичьем дворе обретается...

– Мне до Сашки дела нет. Пьяница он и охальник. Поссорились мы. Мириться не стану.

И Ослябя выказал неуважение, повернулся спиной к старшему, не почтил поклоном при прощании. Или разозлился, бесчувственный человек? Или испугался чего, не знающий страха? Но Дмитрий Ольгердович не думал отпускать своевольного подданного. С силушкой вдарил латной рукавицей по кованому наплечью ослябетева доспеха. Металл грянул о металл. Васька Упирь, в сторонке прикорнувший, подскочил, будто ошпаренный.

– А я так слышал, – прорычал Дмитрий Ольгердович совсем уж не миролюбиво, – что один из сыновей твоих жив. Будто в Москве он, будто Дмитрию Московскому служит, и будто Сашка Пересвет, твой непутевый родственник, его от неминуемой смерти спас.

– Отпусти ты меня, князь! – взмолился Ослябя. – Не трави душу напрасной надеждой. Я присягнул твоему отцу, крест святой целовал. Присяга нерушима для меня. Прикажет

⁹ Братаник – двоюродный брат.

Ольгерд Гедиминович Москву поджечь – подожгу. Прикажет Сашкину непутевую башку с плеч скинуть – скину.

* * *

Васька Упирь едва поспевал за своим командиром. Ослябя бежал прочь от князь-Димитрия так скоро, словно вся сатанинская рать гналась за ним по пятам.

– Всё так, Андрюха, – пробормотал вослед ему брянский князь. – Да только для владельца Литовского, что крестное целование, что шаманская пляска – всё едино.

Димитрий Ольгердович хорошо знал своего отца. Умел провидеть его намерения. Много свершилось по его предсказанию.

* * *

– Что вы содеяли? – спросил Ослябя.

– Ухайдакали раба Божьего, – просто ответил Лаврентий Пёсья Старость.

Ослябя сошел с коня. Склонился над пленником. Лицо мужика, залитое кровью, казалось бы младенчески покойным, если б не зияющие рваным мясом раны на месте глазниц.

Север, бурый конь Осляби, тяжело переступал по мерзлой траве, дышал в спину горячо и тревожно, чуя свежую человеческую кровь.

– Зачем вы его ослепили?

– Дык, догадался он, что мы с литовского стана. Дрался, кусался, как собака, не унять.

– Так намяли бы ребра, руки повыдергивали. Зачем же ослеплять?

– Дак били мы его, Андрей Василевич, били смертным боем. Дак грозился, что сбежит и всё про нас боярину Шубе расскажет. Всё: и где мы, и что мы, и с кем мы. Всё! А слепцу-то и допрос чинить уместней, слепец, он сговорчивей. И не расскажет слепец боярину своему ни где, ни что, ни как, ни с кем. Кто ж знал, что он от ослепления помрет?.. – Егор Дубыня, барабанщик Ослябева стяга, трещал так же звонко, как его барабан перед началом сечи.

– Да и не воевода это, так мужик мужиком, – буркнул Ослябя.

Они расположились на отдых в бору, среди ёлок. Говорили тихо, не гремели железом, не возжигали огня. В разведку пошли налегке, без доспехов, без припасов. Только осторожный Васька надел под зипун кольчугу. Коней также обрядили попроще – обычная сбруя, как у добрых путников-северян.

Васька разложил на тряпице нехитрую снедь: хлеб, репу, вяленую рыбу. На головы им сыпала предзимняя мокрядь. Поначалу вечеряли втроем – Лаврентий не присоединился к трапезе, пока не схоронил злополучного пленника.

– Вернёмся к войску? – осторожно спросил Василий.

– Вернёмся. Найти бы ещё то войско! – нехотя ответил Ослябя.

– Дак вроде намеревались к Волоку Ламскому идти поначалу.

– Может, и к Волоку, а может, и к Можайску. Кто же Ольгердову душу распознает? Мне он у Волока встречу назначил, а Михайле Волянянину – возле Можайска, – нехотя ответил Ослябя. – Государь наш тихо, по звериным тропам войско водит. Никому секрета не открывает.

– Куда ж поскачем, батя? – поинтересовался Васька.

– На закат... – и Ослябя подозвал Севера.

* * *

Они шли размашистой рысью, минуя проезжие тракты, выбирая проторенные тропы, что пролегали по балкам, вдоль ручьёв. Вблизи Можайска напугали до полусмерти охотничью ватагу: троих смердов, ждущих в схороне кабанчика. Допрашивали строго, побили крепко, но резать не стали. Смерды жалобно молили о пощаде. Ни о вражеском войске, ни о войске московитов ничегошеньки они не знали. А тут, на удачу, товарищ пленных выгнал к схорону поросенка-недоростка. Дубыня оглушил зверя палицей, Василий довершил дело рогатиной. Споро повязали загонщика, освежевали зверя, мясо пересыпали отобранной у смердов драгоценной солью. Кто знает, как добрались бы до своих по зимнему лесу, если б не эта случайная добыча. Смердов обобрали, конечно, как же без этого, а потом отпустили полуживых и полуголых.

И снова Ослябя повёл их лесистыми оврагами на закат, в сторону Можайска. Под копытами коней трещал и лопался молодой ледок. Палая листва, схваченная морозцем, оглушительно шелестела. С каждой ночью становилось всё холоднее.

Около полуночи третьего дня неподалеку от Можайска разведчики встретили своих.

– Эй! – прокричали из темноты. – Куда ж так летите, упыри? Нешто коней не боитесь загнать?

– Из нас только один Упирь, – мрачно ответил Ослябя, придерживая Севера. – А ты сам-то чей, смелый такой?

– Я те сейчас расскажу, дяденька, – нагло ответила осеняя ночь.

Сколько их было? Кто ж разберет впотьмах! Семь или десять человек. Какая разница? Выскочили из зарослей орешника, словно черти из преисподней. Кто на коне, а кто пешедралом. Но все вооружены, все со щитами. Лаврентий успел возжечь факел. В железе щита отразилось его колеблющееся пламя, высветив кряжистый дуб, распростерший на стороны обнаженные ветви.

– Гляди-тка! – вякнул Лаврентий. – Дерево голое! Стародубские дружинники!

Факел упал на землю, выбитый опытной рукой стародубского вояки.

Васька огрёл по шапке тяжёлым щитом. Упирь кулем мучным сверзился из седла на мёрзлую землю, глухо звякнула кольчуга.

– Свои-и-и! – что есть мочи возопил Дубыня. – Мы дальняя стража! Боярина Осляби люди и сам боярин с нами!

Вопль его канул в лошадином топоте, грохоте щитов и площадной брани.

Ослябе удавалось отражать летящие в его лицо кулаки. Нападавшие не вынимали мечей из ножен, используя их как дубинки. Пиками не кололи, пытались нанести удары древком – убивать или калечить не хотели, намеревались полонить. Север вертелся волчком, спасая своего всадника от петли аркана.

– Дубыня! Вали коней! – скомандовал Ослябя. – Спешим их!

И дубинушка Егория принялась охаживать добрых стародубских скакунов по головам да по крупам. Нет-нет да и подворачивалась под его могучую десницу чья-нибудь несчастливая конечность. Тишину зимнего леса наполнил истошный вой и лошадиное ржание.

– Окститесь, дурни! – ревел Дубыня, круша противников.

Лаврентий спешил. Вооружившись длинной веревкой, он орудовал под ногами обезумевших коней. Отволакивал в сторону оглушенных Дубыней противников, ловко вязал, приговаривая:

– Настала, настала пёсья старость. Отдохните, поглядите сны честные о том, как ззорно боярина Ослябя не узнавать!

Ваське удалось подняться на ноги. Одного из драчунов он сдернул с седла за полу зипуна и швырнул под копыта подоспевшего Ручейка.

Васькин конь, вороно-пегий Ручеёк, метался между дерущимися с пустым седлом. Привычный ко всяким передрягам, безошибочно различая своих, он бил противников копытами, сшибался с конями грудь в грудь, скалил зубы, кусался.

Лаврентий исправно творил своё ремесло: трое противников, оглушённые и крепко связанные, лежали на мёрзлой траве. Вдруг кто-то толкнул старого любуткого дружинника коленом или кулаком пониже спины. Потом ещё раз, будто говорил: «повернись». Противник был позади, великого роста, тяжёлый, дышал шумно и жарко.

– Ох,росло ж в Стародубе здоровых орясин! Как удержаться-то, пёсья старость? – печально бормотал Лаврентий, нащупывая в голенище любимейший свой топорик. Выверенным движениям, с широкого разворота ахнул дядька обушком по вражеской груди. Бил милосердно, не остриём, но обухом, однако почему-то не слышал, как доспех отозвался на удар мелодичным звоном, будто и не было на противнике никакого доспеха, а только шкура.

– Уая-я-я! – закричал противник, вздымая в воздух лаковые копыта. Лаврентий выронил топор, склонился долу, прижал бороду к коленям, накрыл ладонями затылок. Но милосердие оказалось не чуждо и его противнику. Не стал он топтать дядьку Лаврентия. А только ухватил за зипун посередь спины, мотнул головой, выдирая здоровенный клочок.

– Повредил меня, пёсья старость! – взвыл Лаврентий, распрямляясь для новой атаки.

Струсил ли старый любутский дружинник? Стушевался ли отважный вояка? Почему топорик из рук выпустил, когда увидел над собой горящие недобрым полымнем глаза Ручейка и его оскаленную пасть?

– Тащи мешки, Лаврентий! – услышал он зов боярина. – Накроем ими буйные головушки стародубского воинства, чтоб не ослепли ненароком от великокняжеского величия!

– Ручеёк! – вопил Упирь. – Не тронь Пёсью Старость! Ко мне! Ко мне!

* * *

Пленники сидели на земле связанные, с мешками на головах. Оружие их валялось рядом, сваленное немалой грудой.

– Экие нерадивые вояки, – бормотал Лаврентий, копаясь в железном хламе. – Всемером против четверых не выстояли. Дела позорные, пёсья старость!

– А чё, Андрей Васильевич, – ворковал Егорка, – мож, их в великокняжеский стан оттащим, нарежём москвитями. Пусть дядька Ольгерд их железом каленым пожжет. Мож, и будет толк.

– Волоки! – глухо ответствовали из-под мешка. – Тебе, дубине стоеросовой, колоде непутёвой воздастся за это. Мы – стародубские дружинники пришли под Можайск с воинством Ольгерда Гедиминовича. С ним же и далее пойдём, Митьку Московского крушить!

– Где ныне Ольгерд? – спросил Осябя.

Мешки безмолвствовали.

– Вдарь, Егорка, – приказал Осябя.

И Дубыня ударил говорливого пленника кулаком по голове, по крепкому доньшку мешка.

– Да не так! Зачем рученьки мараешь? Васька, тащи батоги. Егор, снимай с него порты. Да поторопись, скоро рассвет.

– А сапоги-то у него хорошие, – бормотал Дубыня, разоблачая пленника. – Жаль, мне не по размеру.

Заревел, засучил ногами пленник, заерзал нагим задом, завертелся веретеном. Заволновались и его товарищи, стародубские воины. Кряхтя и поругиваясь, повлекли спеленатые тела в разные стороны от допрашиваемого.

– Васятка, – молвил ласково Ослябя. – Клади-ка, сынок, седалище на голову сему воину да полы тулупа ему приподыми, чтоб батожная премудрость до потрохов легче доходила. Дубыня, начинай!

* * *

Сумерки поздней осени рассеялись. Огромные снежинки, посланцы хмурых небес, оседали на конских гривах, шапках и плечах всадников, двигавшихся вереницей. Впереди – Ослябя и Упирь. Они ехали рядом, стремя в стремя. Далее следовал Лаврентий Пёсья Старость, то и дело оглядываясь на пленных стародубчан, которые гуськом тащились за ним с мешками на головах, повязанные длинной веревкой, чей конец был привязан к хвосту Лаврентиева коня. Дубыня, также верхом, замыкал шествие. Великан держал наготове огромный лук, с наложенной на тетиву стрелой. Следом за Дубыней шагали кони стародубцев. Пустые стремяна бились о впалые бока.

– Ой, Васятка! Ой, злющий же у тебя жеребец! – причитал Лаврентий. – Из зипуна моего преогромный клок выгрыз, пёсья старость! Мерзну! Пурга в спину задувает, застужусь да и помру, не доехав до Можайска! Нет, не конь это, а как есть пёс злющий!

К полудню вышли на опушку леса.

Вдали между увалами курились дымы. Сквозь пелену усиливающегося снегопада еле виднелись деревянные стены и башенки Можайской крепости, а также побелевший вал, россыпь тёмных фигурок под ним. Прямо перед крепостью между невысоких, пологих холмов виднелись остовы сгоревшего посада, а также шатры и палатки литовского лагеря. Зоркий глаз Осляби разглядел стяг Ольгерда – красное полотнище и «Погоню»¹⁰ на нем.

– Что это, батя? – тревожно спросил Упирь. – Штурмуют?

– Да, сынок, – нехотя отозвался Ослябя. – Вовремя мы подоспели. Эй, Лаврентий, води стародубских дурней в лагерь. А ты, Дубыня! Отложи лук, подгоняй их батогом!

Сказав это, Ослябя пустил Севера вскачь к крепостному валу, а бойкий Ручеёк, злой и голодный, чуя близость боя, сам пустился галопом, вынес Ваську Упия вперед, а Васька и не сдерживал ускоряющийся бег коня, лишь что-то кричал Ослябе, оборачиваясь, но слова уносила метель.

Очень скоро громкая брань Пёсьей Старости, хохот Дубыни и плач пленников, получающих удары батогом, затихли далеко позади.

* * *

– Мы уже потеряли сотню человек, а может, и более. Пал боярин Смалыга, пал Семён Беспорточник, – мрачно заявил великий князь Литовский и Русский. Он, облаченный в полный доспех, восседал на огромном, белом жеребце. Голос князя, доносившийся из-под опущенного забрала, был подобен отдаленному грому. Ольгерда окружали огнищане¹¹ и ближние бояре, пешие и конные. Ослябя заметил среди прочих стяги Андрея Полоцкого и Дмитрия Брянского. Здесь, перед пограничным Можайском, собралось всё литовское воинство.

¹⁰ «Погоня» – скачущий всадник с занесенным мечом на красном фоне – в XIV веке герб Великого княжества Литовского и Русского.

¹¹ Огнищанин – высший служилый класс.

Особо привлекали взгляд конные копейщики в длиннорукавных кольчугах с кольчужными рукавицами, в панцирях из длинных продольных железных пластин с наплечниками. На маковки шлемов и на бармицы¹² ложился, но не таял снег. Кони позвякивали пластинчатыми ожерельями доспехов, выпуская густой пар из ноздрей. Копья всадников, устремлённые в небо, осеняли воинство трепетным разноцветьем флажков, чья пестрота казалась такой нарядной среди белой метели. Блестящие секиры пехотинцев, блестящие островерхие шлемы и раскрашенные яркими цветами павезы¹³ также придавали строю литовского воинства праздничный вид.

Литовские полки пришли под стены можайского кремника за новой победой. Золочёные панцири князей, серебряная отделка конской сбруи, яркие плюмажи, шитые золотом попоны, решительные взгляды, барабанный треск – всё свидетельствовало о готовности к началу весёлого кровавого пиршества, но упорное сопротивление можайцев не давало Ольгерду и остальным повода для веселья.

– Трусливые людишки, засевшие в крепости, облили вал водой, – продолжал Ольгерд. – Невозможно взобраться. Сыплют на головы ратникам камни, бьют стрелами. Весь город стал на стену. Они и не думают сдаваться! А ты боярин? Что ты совершил для нашей победы? Добежал до Москвы?

– Не удалось до Москвы дойти, Ольгерд Гедиминович, – отвечал Ослябя. – Народу много разного по лесам шатается, на дорогах людно. Не раз и не два от погони уходили. Пленных брали, пытали, убивали. Все говорят одно и то же: достраивает, дескать, Дмитрий Московский новую крепость. Крепость высокую, каменную. Сами видели: только первый снег пал, только слякоть подмерзла, покатались по трактам волокуши, камнем да лесом груженные. Знать, и вправду на Москве строительство большое.

– Зачем же ты, боярин, пленных в лагерь не привёл? Стародубцы не в счёт. Они сами бежали ко мне, в дружину к Дмитрию Ольгердовичу наниматься. Да и не были они на Москве, не ведомо им, где ныне Митька-малолеток обретается. Твои люди так знатно их отделили, что ныне они для боя непригодны. Будто мало нам потерь в войске! Будто ты, боярин, всякого встречного пытаться да мучить подвизался!

– Значит, зря дрались, – вздохнув, молвил Ослябя.

Из снежной пелены верхом на разгорячённом коне каурой масти выскочил Ольгердов отрок Игнаций Верхогляд.

– Вылазка! – прохрипел он. – Можайские трусы отворили ворота! Из города идет конница.

– К бою! – скомандовал Ольгерд.

– Дозволь отличиться, – Ослябя опустил перед князем Литовским на колено, склонил голову. – Дозволь и моей дружине участвовать в битве.

– Ступай на мост, Ослябя! – прокричал Ольгерд. Закованный в броню конь уже нёс его ко рву, к открытому зеву крепостных ворот, к скорой победе. – Покажи нам, что ты не только лазутчик отменный и мастеровитый палач. Покажи, каков ты боец, православный рыцарь! – услышал Ослябя слова повелителя княжества Литовского и Русского.

Сигнальщики поднесли трубы к губам. Одетые в чешуйчатые панцири из длинных продольных стальных пластин с пернатыми фестончатыми оплечьями и подолом, они закинули за спины миндалевидные щиты. Отделанные красным сафьяном ножны их сабель и кинжалов в белой кипени снегопада были подобны брызгам крови.

¹² Бармица – элемент шлема в виде кольчужной сетки.

¹³ Павеза – щит пехотинца, чаще всего прямоугольный, с упором в нижней части, чтобы прочно установить на земле. Иногда в нижней части щита делались шипы для втыкания в землю.

* * *

О чем помышляли защитники крепости, видя перед собой огромное, в пол-окоема вражеское войско? Посылали в Москву за подмогой? Молились? На что надеялись?

Через прорезь забрала Ослябя рассматривал крепостную стену – местами обветшавшая, обмазанная кое-как глиной кладка брёвен. Круглые башни с покатыми, крытыми дёрном, крышами. Однако детинец¹⁴ построен по уму – на вершине крутобокого холма, склоны во многом заменяют вал. К стенам подобраться сложно. С башенных галерей и из бойниц лучники яростно и метко шлют стрелы. Не прикрыться от тех стрел щитами, не подкатить к стене ни осадной башни, ни тарана. К тому же вал Можайские жители так усердно поливали водицей, что поверхность его покрылась толстой коркой наледи. Осаждающим никак не взобраться наверх. А у основания вала пролегает ров глубокий, стены его крутые. Воды в нём немного осталось после летней засухи, но тяжеловооруженному пехотинцу не пройти. Остается одна лишь дорога в город: по мосту. Пробить дыру в воротах, греческим огнем запалить обитые железом створки, а потом – на штурм, воздев к небесам сверкающие клинки.

– Василий! – Ослябя обернулся к Упирию. – Как только литвины с Можайцами на мосту сойдутся, мы своё дело сделаем. Ты копьё своё взять не забудь.

* * *

– Смотри-ка, Андрей Васильевич, – шепчет Упирий. – Вон Локис-Минька суетится. Налаживает навес над тараном. Наших знакомцев – стародубцев погнали под навес, луками вооружили. Смотри-ка, батя! Покатили! Покатили!

Они стояли на голой верхушке обдуваемого всеми ветрами холма. Как всегда рядом, стремя в стремя. Север был неподвижен, подобно гранитной скале. Ручеёк, напротив, прыдал ушами, скалил зубы и тихо ржал, чувствуя приближение схватки.

За спинами этих двух всадников сомкнутым строем стояла любутская дружина. Над головами реял в снежной круговерти красный с золотым стяг боярина Осляби, последнего в своем роду. Их осталось всего двадцать. Старшему, Лаврентию Пёсьей Старости, минуло пятьдесят годов, самому молодому, Ваське Упирию, едва исполнилось восемнадцать.

Ослябя нашел его три года назад в опустошенном чумой Любутске. Васька сидел на колокольне и, словно ополоумев, без остановки дергал и дергал набатное било, оглашая окрестности заунывным похоронным воем. Пока Ослябя лез на колокольню, вой утих, а звонарь – тощий, испуганный до смерти парнишка – обнаружился под куполом колокольни – сидел на стропилах среди снулых летучих мышей. Как ни расспрашивал Ослябя мальчика о судьбе жены, свояченицы и детей своих малолетних, как ни тряс недоросля, как ни мял его тощие бока – ничего добиться не смог. Трясаясь, словно в лихорадке, отвел его парнишка к закрытому чумному рву, указал место упокоения сородичей. И не более того. Всё твердил только:

– Все померли, все. Батюшка Епифаний службу в храме не успел довершить. И за ним пришла старуха с косой. Упири летучие на небеса всех вознесли. Так все померли, все...

Так и прозвал его Ослябя Упирем. Любутский боярин с выжженной горем, бесчувственной душой, потерявший всю семью, привязался к тощему заморышу, как к сыну. Любутские дружинники говорили меж собой так:

¹⁴ Близко по значению к слову «кремль».

– Если кого и жалеет наш воевода, так это коня своего премудрого, Севера, да мальчишку отважного, веснушчатого Василия.

За три года, проведенных в непрерывных походах под знамёнами Великого княжества Литовского и Русского, Васятка оброс мясом. В одной из безумных вылазок на Рязанскую землю добыл себе резвого и злого коня. Всем был хорош Ручеёк – и на ногу легок, и умен, и предан. Один лишь недостаток имелся у него – странная вороно-пегая масть, словно похмельный маляр размалевал хорошего вороного коня белой краской.

* * *

Два всадника смотрели, как месят снег перед въездом на мост служилые люди огнищанина Локиса – ближнего советника и соратника Ольгерда Гедиминовича. Локис был не только могуч и лохмат гривой да огромной тёмно-рыжей своей бородой, но ещё и обучен разным полезным наукам. Ходили слухи, будто известен Локису секрет греческого огня, и будто очень пригодился этот секрет в победном для литовского воинства сражении с ордынцами у Синей Воды. Русская часть литовского воинства называла Локиса попросту Минькой, на которого огнищанин походил и внешним видом, и поведением.

Вот и сейчас под водительством Локиса-Миньки ладился и ставился на колеса огромный шалаш дощатого навеса, под которым на стропилах подвешивался таран. Огромное бревно с заостренным концом, окованным железом, подвешивалось на цепях. Специально обученным дружинникам предстояло раскачивать таран, ударяя им в ворота осажденной крепости. Особая ватага отвечала за доставку тарана к воротам. Эту неблагодарную и опасную работу выполняла самая забубенная, никчемная часть воинства. Зоркие глаза Осляби разглядели среди людей, суесящихся вокруг тарана, старых знакомцев – незадачливых стародубских дружинников.

– Не будет от этого дела проку, – сказал Ослябя. – Остаешься за старшего, Пёсья Старость. Держи стяг повыше да жди сигнала Дубыни. Как услышишь звук рога, ввязывайся в свару. Но если сигнала не будет – с этого места ни ногой!

* * *

Говорят, Ольгерд Гедиминович имел обыкновение щадить своих дружинников. И то – правда. Разве стало бы Великое княжество Литовское и Русское столь обширным и многолюдным государством, если б не внимательное отношение его управителя к своим людям? Разве удалось бы отбить у Орды Киев – мать городов русских – и волынские княжества, если б Ольгерд вёл себя иначе? Он был расчетлив и изворотлив, а потому стремился казаться для ратников князем чадолюбивым и веротерпимым. Литва любит войны, войнами она поднималась. А для войны нужно войско – умелое, сытое, пользу свою от войны понимающее и не раздираемое внутренними раздорами.

Приходили к Ольгерду со всех сторон неприкаянные люди в воинство наниматься. С каждым он говорил на родном тому языке. Каждого после очередной славной победы уделом награждал. В государстве своем Ольгерд никакой веры не утеснял. Сам крещение принял и сыновей от первой жены, витебской княжны, крестил по русским святам. И все-то родственники, и все свойственники со всякой нуждой бежали к Ольгерду. И князь Литовский помогал каждому, коли видел в том свою выгоду. А ныне вот поддался на уговоры и слёзные мольбы честолюбивого шурина. Знать, задумал расширить пределы подвластной ему ойкумены за счет московских земель. Да и почему бы не расширить? Ордынцев бил успешно, и не раз. Поддерживал брата Кейстута в схватках с тевтонскими и ливонскими рыцарями. Что же может помешать Ольгерду одолеть малолетнего Митьку?

– Нетвёрдая вера может помешать, – внезапно произнёс Ослябя.
– О чём ты, батя? – вскинулся Васька.
– За мной, ребята! – скомандовал Ослябя. – Пока шум да гам, мы свое дело изловчимся сделать. Заслужим награду!
И они втроем, Ослябя, Упирь и Дубыня, скрылись в снежной круговерти.

* * *

Трудна ратная работа. Под ногами сырое снежное месиво, над головой низкий деревянный настил, под которым на цепях подвешен тяжёлый таран. В ушах только и слышны неумолчный свист стрел да барабанная дробь, перебиваемая гортанной бранью огнищанина Миньки. Что есть мочи налегая на деревянный упор, ратники толкают огромную дуру всё время в гору, в гору, в гору. Тело гудит от напряжения, вокруг темно, ни зги не видно. Но вот всё переменялось. Под ногами теперь не снежное месиво, а гремучий настил моста. Скоро, скоро или смерть, или торжество. Но в любом случае мытарствам конец!

* * *

Стемнело. Под покровом темноты любутские дружинники спустились в ров и затаились под самым мостом. Ослябя видел лишь серебрящийся в темноте шейный доспех Севера, огненный блеск в глазах неугомонного Ручейка, стоявшего рядом, до хвост Дубыниного тяжеловоза.

Кони сильно иззябли, стоя по брюхо в ледяной воде, хотя времени прошло всего ничего. Ручеёк заметно дрожал, Север пока держался. Но долго ли они выдержат так, ожидая, пока на мост вкатится таран и начнётся битва? Вот свист стрел сменился жутким грохотом. Наконец-то колеса навеса вкатились на мост.

– Не трусь, Упирь! В чумном Любутске выжил, мамку и братьев схоронил. Здесь и подавно не след тебе бояться!

– Да ты сам-то, батя, не забоялся ли?

– Я-то? – усмехнулся Ослябя, поглядывая на громыхающие над их головами доски настила.

– Ты-то! – не унимался Васька. – А ну, как доски нам на головы обвалятся?

– Не лопочи, тише, тише, – пробормотал Ослябя, оглаживая шею Севера. – Сейчас начнётся! Мнится мне, будто можайцы слабоумные сейчас воротины откроют!

Но можайцы сидели в крепости тише воды ниже травы. Новой вылазки не предпринимали. Да и стоило ли? После первого отчаянного налёта не менее двадцати защитников крепости осталось замертво лежать на настиле моста. Десятерых раненых обороняющиеся унесли с собой в крепость. И пусть потери в войске Ольгерда были намного больше, но и боеспособных воинов у литовского князя осталось намного больше. Ослябя, как и можайцы, понимал, что князь Литовский не отступится, не уйдёт из-под стен пограничного города, не исчерпав всех сил. Потому-то и полагал Ослябя, что городу лучше сдаться побыстрее, не злить Ольгерда, а вот можайцы, судя по всему, держались иного мнения.

С крепостной стены на осаждавших градом сыпались стрелы. Ослябя слышал частые, глухие звуки, подобные барабанной дроби – это каленые наконечники вонзались в настил моста, в навес. Слышались выкрики и стоны раненых. Порой, когда шальная стрела проникала в щели настила, кони тревожно вздрагивали, а всадники прикрывались щитами. Запахло кровью. Ручеёк заволновался, захрапел, но, забыв о пронизывающем холоде, перестал дрожать.

Наконец тяжёлый таран подошёл к воротам, остановился, и оттого доски моста под ним почти перестали трепетать. Стало странно тихо.

– Кровь не каплет, – прошептал Васька. – Значит, раненых немного.

– Готовьтесь, – эхом отозвался Ослябя. – Сейчас начнётся наша работа. Дубыня, где твой рог?

– Тута, – послышалось из темноты.

– Не вздумай пока шуметь! – предупредил Ослябя. – Подашь сигнал, когда я прикажу!

– А что будет-то, батя?

– Сейчас всё расцветет, – усмехнулся Ослябя. – А ты, Васятка, пока готовь копьё!

Сначала послышались глухие удары, настил моста задрожал пуще прежнего – начал работу таран. На головы Осляби и его товарищей посыпалась древесная труха вперемешку со снегом. Кони заволновались. Ударам тарана вторили истошные вопли, грохот, скрежет и треск. Со стены теперь летели не только стрелы. Осаждённые забрасывали таран крупными камнями, поливали смолой, смешанной с каменным маслом. Густой, привязчивый запах её лез в ноздри. Литовское воинство отвечало осаждённым из-за рва градом стрел и отборнейшей бранью. За грохотом тарана, визгом стрел, воплями, столами Ослябя пропустил важный момент. Сколь много смолы вылили можайцы на крышу настила? Неверное, немало, потому что смрад стоял ужасный. В первое мгновение Ослябя подумал, что карающая десница архангела Гавриила опустилась на можайский кремник, что разверзлись небеса, исторгая громы и молнии. Яркая вспышка осветила подмостье. Ослябя ясно, как днём, разглядел расширенные от ужаса глаза Дубыни, сосредоточенный лик Васятки, торчащий кверху наконечник его копья. Блеснул металл доспехов. Ручеёк взвился на дыбы, Север завертелся, сдерживаемый железной рукой Осляби. Только Дубынин тяжеловоз остался недвижим – от старости, кротости и привычки к походным передрягам он с неизменным равнодушием сносил любые напасти.

За вспышкой последовал оглушительный грохот. Разноголосые вопли слились в единый оглушительный вой.

– Стоять тихо! – прохрипел Ослябя.

Нет, они находились не в аду. Той ноябрьской ночью преисподняя находилась у них над головами. Нестерпимо воняло серой, паленым деревом, раскалённым металлом. Сделалось жарко, и даже кони, стоявшие в ледяной воде, казалось, согрелись.

Что-то яркое, словно дневное светило, упало в ров с моста, распространяя ужасный смрад горелой плоти. С противоположной от можайских ворот стороны рва доносились гортанные выкрики. Ослябя признал голос Ольгерда. Литовский князь отдавал команды на родном, жемотийском наречии. Наконец вопли и грохот, стоны и плач, свист стрел – всё потонуло в рёве огня.

– Васятка, посмотри-ка, сынок, что там... наверху, – попросил Ослябя, и Упирь соскочил с седла в воду.

Василий не надел лат. Его тело и руки прикрывала лёгкая кольчуга, шлем да рукавицы. Ничто не стесняло движений любутского дружинника, когда он, ловкий, словно белка, взбирался по крутому откосу рва, где из-за жары пожарища стояла вся наледь.

По возвращении на лице Упия, сплошь покрытом жидкой грязью, не было видно ни бородёнки, ни усов. Только серые глаза его, в которых отражались всполохи пламени, бушевавшего на мосту, горели огнем боевого азарта.

– Горит таран! Это греческий огонь! Видать, не только Миньке-литвину секрет известен! – тараторил Упирь. – А можайцы-то, можайцы, налаживаются ворота открыть! Вылазку совершить хотят!

– Скоро настанет и наш черёд. Дубыня, не спи!

Любутские дружинники не слышали, как можайцы открыли ворота. Скрип ворот был заглушён рёвом пламени. Затем с моста грохотом начали падать обгоревшие куски дерева, ещё недавно бывшие деревянным шалашом, прикрывавшим таран. За ними скатилось и само бревно тарана. Объятое пламенем, оно плюхнулось в воду рва, обдав тех, кто прятался под мостом, почти тёплыми брызгами с головы до ног.

Внезапно все звуки снова затихли, словно великан накрыл и кремник, и окрестности Можайска толстым покрывалом. Но тишина длилась недолго. Пространство над головами снова взорвалось звуками: топотом, лязгом, ревом. На мост вступила можайская дружина. Тотчас же с противоположной стороны рва в защитников крепости ударило сонмище стрел. И снова грохот падающих, закованных в броню тел. И снова вопли боли и ужаса, а затем – нарастающий гул конной атаки. Это литвины пытались прорваться к открытым воротам сквозь строй пеших можайцев, но увязли в нём. Противники схлестнулись над головами у Осляби и его товарищей. На этот раз через щели настила летели не стрелы. Кровь капала, сочилась, лилась ручейками. Там, наверху, было светло как днем.

– Светопреставление! – шептал Дубыня, истово крестясь.

– Не-е-е-ет, детинушка, – успокаивал его Ослябя. – То можайцы жгут на стене костры.

– Так, пожалуй, и спялят кремник! – горячился Василий. – Может быть, мы поскачем, а? – добавил он, видя, что Ручеёк снова начинает дрожать от холода. – Смотри-ка, батя, кажись, наших отжимают за ров. Смотри, можайцы навалились!

Но Ослябя не слышал его. Он пристально глядел наверх, держа длинное копьё, взятое у Васятки. Доски настила скрипели и прогибались под тяжёлой поступью сражающихся, слышался лязг металла о металл. Видать, бились на мечях, в пешем строю. Дубыня не сводил глаз с командира. Он уже скинул кольчужную рукавицу и сжимал в руке рог.

Ослябя привстал на стременах. Он целил копьём в широкую щель между досками, туда, где тяжело переступали сражающиеся воины. Их осталось двое на мосту – можаец и литвин. Остальные бойцы расступились, давая свободу этим двоим. К можайцу уж дважды подбегал оруженосец, подавая новый щит взамен разбитого. На щите литовского воина блистал алым и золотым герб Брянска. Противники бились насмерть.

– Дмитрий Ольгердович... – прошептал Василий.

Оба поединщика были ранены. Дмитрий Брянский заметно хромал, а его противник переложил щит в правую руку и сражался левой. На забрало Ослябева шлема падали редкие алые капли. Дважды примеривался Ослябя. Дважды пытался вонзить он наконечник копья в пах можайского воина, туда, где сходятся пластины ножных доспехов. На третий раз любутский воевода решил нанести удар, но его попытка закончилась неудачей. Лепесток наконечника ударил в доску настила, под ноги можайца. Противник Дмитрия Ольгердовича пошатнулся, и брянскому князю удалось нанести меткий удар по предплечью противника. Можаец, опустив меч, припал на одно колено. Он тяжело дышал, всматриваясь из-под налобья шлема в доски настила. Ослябя поймал его взгляд. Свистнула стрела, выпущенная чьей-то неверной рукой. Чиркнула по наплечному доспеху можайца.

– Поднимайся, Пётр! – голос Дмитрия Брянского звучал глухо.

– Батя! – всполошился Василий. – Так это ж можайский воевода – Пётр Барашенок!

– Молись, Дубыня! – прошептал Ослябя, целя наконечником копья в щель между досками.

На этот раз Ослябя не промахнулся. Копьё проникло под подол кольчуги, между пластинами набедренников, острое вонзилось в пах. Пётр Барашенок охнул. Ослабевшие пальцы отпустили оружие. Щит с грохотом откатился в сторону. Можайский воевода завалился на бок.

– Труби, Егорка! – скомандовал Ослябя.

* * *

Иззябших коней удалось поднять в галоп без труда – те рады были согреться движением. Всадники мчались прочь от моста в ту сторону, где по крутой стене рва вислась узенькая стёжка. Этот путь пряткий Упирь показал Ослябе перед началом сражения. Тревожные звуки Дубыниного рога вились над ними, подобно знамёнам. Вослед им летели стрелы и проклятия защитников Можайска. Под ноги коням падали, вспенивая стылую воду, камни, но всадникам удалось уцелеть. Любутская дружина с Лаврентием Пёсьей Старостью во главе встретила их на краю рва.

* * *

Лагерь засыпал. Палатки и шатры в густой пелене снегопада стали едва различимы. Сквозь выюжную круговерть тут и там пробивались огненные всполохи костров, похожие на причудливые оранжевые цветы. Кони, покрытые попонами, превратились в снеговые сугробы, время от времени изрыгающие пар. Снег скрипел под ногами, проникал под полы однорядки¹⁵, ложился на брови и ресницы. Он заполнил собой мироздание. И небеса, и земля, и сосновый бор, и оставшаяся непокоренной крепость – всё потонуло в снегу.

Андрей Ослябя разыскивал шатер Дмитрия Брянского недолго. Всепроникающий холод подгонял, а зажженный заботливыми руками Пёсьей Старости факел освещал путь. Делу помог и ближний боярин Дмитрия Ольгердовича – Федька Балий¹⁶, вынырнувший из недр метели, подобно ополоумевшему сому из бездонного омуты.

– Зачем мечешься, Ослябя? Или не устал? – усмехнулся Федька.

– Где князь?

– Отдыхает. Раны, ссадины. Бились мы отважно – не то что вы, любутские. Батюшка – великий князь сами к нам пожаловали, любимого сына навестить, врачеванию ран помочь.

– Выходит, это и есть шатер Дмитрия Ольгердовича? Стяга не видать, всё замело... – Ослябе наконец удалось рассмотреть алые полотнища знакомого шатра.

* * *

Князь лежал, укрытый до подбородка меховыми одеялами. Малиновое его лицо покрывали бисеринки пота. Неподалеку суетился молчаливый отрок. Над очагом кипел, распространяя пряные весенние ароматы, котелок.

Ольгерд Гедиминович сидел рядом с сыном, в походном кресле. Синий плащ, подбитый волчьим мехом, скрывал его тело от шеи до сапог, голову покрывал глубокий капюшон. Перед князем в трехногий жаровне пылал огонь. Багровые блики делали неподвижное лицо Ольгерда похожим на маску древнего жемотийского божества.

– Опять ты отличился, Ослябя, – усмехнулся Ольгерд. – Ты не только отважен, но и хитроумен... Н-да...

Ослябя поклонился с почтением и быстро оглядел внутреннее убранство шатра. Вот сваленные в кучу, забытые на время доспехи и оружие, вот пропахшая конским потом сбруя,

¹⁵ Однорядка – верхняя мужская или женская одежда без воротника, с длинными рукавами, доходящая до колен или ниже. Шилась из тяжелой и плотной ткани. Получила своё название либо потому, что имела один ряд пуговиц, либо потому, что делалась без подкладки, то есть ткань клали «в один ряд». Часто (но не всегда) на тыльной стороне рукавов имела прорези от подмышки до уровня локтя, чтобы можно было высунуть руки.

¹⁶ Балий (древнерусск.) – колдун, врачеватель, заклинатель.

вот Марзук-мурза, татарский царевич, взятый Ольгердом в плен у Синих Вод¹⁷. Марзук-мурза – неприглядный сухорукий, кривоногий, большеголовый карлик, всегда сопровождал великому князю Литовскому в походах. Бывало, что Марзук путешествовал на княжеском коне в седельной суме. Хорошо разбиравший арабские и еврейские письмена, Марзук-мурза часто использовался Ольгердом в качестве толмача. Зачем? Много лет живя и воюя бок о бок с литовским князем, Ослябя удостоверился в том, что Ольгерд Гедиминович отменно владеет языками сопредельных народов. Поговаривали, будто Марзук-мурза помимо прочих умений владеет навыком врачевания. Лечит, будто, татарский царевич не только травами и кореньями, но и специально приготовленными внутренностями разных ползучих и летающих тварей, творит заклинания и ворожбу.

– У-у-у-у, бесовское семя, – буркнул в сердцах Ослябя.

– Зачем ругаешься, боярин? – в тишине шатра голос Дмитрия Ольгердовича прозвучал тихо, но твердо. – Или сильно замерз? Присядь у очага, согрейся.

– К чему мне? – ответил Ослябя. – Хотел узнать, жив ли. Теперь вижу, что хвораешь.

– Я не болен, Андрей Васильевич, – ответил князь. – Вот увидишь, утром буду здоровенек, сяду в седло. Больших ран на мне нет, так, ссадины. Ткнул пару раз можайский воевода... А так, если б не ты, Андрей Васильевич, не быть бы мне живу. Спасибо, помог.

– Однако, несмотря на все старания, Можайск нам не взять, – заметил Ольгерд Гедиминович. Дадим отдых коням, переведем раны и с рассветом выступаем к Москве. Сын мой к утру станет здоров, а до вечера и вовсе окрепнет. А ты, боярин, в походе изволь быть при мне неотлучно.

– Дорога на Москву к вечеру станет непроходима. Кони увязнут в снегу, – возразил Ослябя, но великий князь уже принял решение.

Как видно, Ольгерд увидел в ранении сына некое предупреждение, посланное свыше. Было ли оно послано старыми языческими богами или христианским Богом – для великого князя не суть. И пусть ещё утром Ольгерд хотел стоять под Можайском до победы, но теперь решил не продолжать дела, в котором не предвиделось удачи, а попытать счастья в другом месте – в самом сердце Московии.

– Мы пехоту поставим наперед, и она протопчет путь коням. Нам торопиться некуда, – литовский князь говорил тихо, почти не размыкая губ. В неподвижных его зрачках отражались багряные огоньки, тлеющие в жаровне. – Москва от нас не убежит, а можайский воевода мёртв, и потому его люди не ударят нам в тыл, не осмелятся.

Помолчав, Ольгерд добавил:

– Эх, снегу-то намело! Сатанинская круговерть! В такую погоду и малый след в одночасье исчезнет, и большое войско пройдёт по лесам так, что ни единый сук под копытом не треснет.

* * *

Крупное тело Локиса-Миньки сотрясал озноб. Ещё одна ночь в замёрзшем лесу, где едва удаётся угреться под пологом шатра.

Ещё один военный совет. Вокруг крошечного костерка собрались набольшие начальники литовского воинства. Сам Ольгерд, его старшие сыновья, его ближние бояре – все закутаны в меха, все препоясаны кушаками. На этот совет, походный, вожди литовского войска явились во всеоружии, при мечях и кинжалах.

¹⁷ Синие Воды (река Синюха), приток Южного Буга. В 1362 году в битве при Синих Водах Ольгерд Гедиминович одержал победу над ордынским войском.

Воинство расположилось на ночлег под заснеженными кронами древней дубравы. Место выбирали долго и со знанием дела – так, чтобы под копытами коней не было подлеска, чтоб ни единый сук не треснул под кованым сапогом. Костров не разжигали, ели промерзший, чёрствый хлеб и вяленое мясо. Ольгердово воинство, привычное к обычаям своего владыки, терпеливо переносило лишения походной жизни. Под красно-белым полотнищем «Погони» они неизменно шли от победы к победе, от награды к награде. Ольгерд Гедиминович любил свою дружину. Щадил при осадах, не обижал при дележе добычи. Можно, можно потерпеть и пять, и десять дней лишений, если потом внезапно одним хлестким ударом смести вражескую рать, напоить чужую землю тёплой кровью, вознести к небесам высокие костры удалого набега. А потом утечь в родные пределы, к холодным берегам Вилии и Немана.

– Надо лес валить, – заявил Локис-Минька, стуча зубами. – Но эта куща не годится для меня, Ваше Величие. Слишком толстые стволы. Нужна сосна. Высокая, нестарая сосна. Будем ладить снаряд из сосны. Прикажи брянским людям точить топоры, прикажи народ отрядить...

– Станем лес валить, топорами стучать. Шумно, хлопотно, – возразил Дмитрий Ольгердович.

– Да и как тащить лес к Москве, если все кони под седлами? – поддержал брата Андрей Полоцкий. – По глубокому снегу и бескормице кони падут. Спешенные ратники в полном вооружении в снегу увязнут, до начала битвы изнемогут. А ну как Митька Московский рать навстречу вышлет? Как сражаться станем?

– Не вышлет, – подал голос Марзук-мурза. – Митька в городе сидит. Вокруг Москвы пустым-пусто.

– Пустым-пусто? – рявкнул Дмитрий Ольгердович. – Пустым-пусто, татарская твоя душонка? Верно, знаешь? Прозревал в медном блюде?!

Марзук-мурза заерзал, запыхтел. Заботливые руки ольгердова отрока закутали, запеленали татарского царевича в дорожную соболью шубу, надели на бритую голову высокую медвежью шапку, расчесали чёрную бородку костяным гребнем, благовониями не забыли умастить, покормить досыта не забыли. Сидел теперь Марзук-мурза под боком у Ольгерда Гедиминовича кум королю, властелином своим горячо почитаемый, сородичами забытый, литовским воинством люто ненавидимый.

– Успокойся, старший сын, – сказал своё слово Ольгерд. – Мы пленников исправно пытали. Каждого по отдельности. Ослябя твой лично старался. Уверен, не солгали они. Митька войска не собрал. Сидит себе в Москве вместе с митрополитом и в ус не дует. А блюда Марзука-мурзы ты не хай. Помнишь ли, как царевич нам под Холхолой помог? Помнишь ли, как верно расположение московских дружин в блюде узрел? Смели их одним ударом! У нас десять человек полегло, у них – сотни.

– От колдовства не станет проку... – прошептал Андрей Полоцкий, истово крестясь.

– Как ворота на Москве ломать будем? – вновь застучал зубами Локис-Минька. – Мне лес нужен, длинные гибкие сосновые стволы, не очень старые, но и не молодые...

– Рубить, строить, ломать?! – возрычал Андрей Ольгердович. – Если в снегу с твоими стволами застрянем, накроют нас московские полки, похоронят в этих снегах. Или сами с голоду помрём! Вот ты, Минька, мяско жрешь, медком запиваешь. А мой Лёнька не ест, не пьёт, потому как его буйную головушку ныне поутру православный христианин дрекольем проломил.

– Знать, твой Лёнька сражаться не мастак... – вяло возразил Локис-Минька.

– Сражаться не мастак?! – пуще прежнего взревел Андрей Ольгердович, вскакивая на ноги.

Его медвежья, крытая сукном шуба распахнулась. Заскрипели, зашуршали кольчужные кольца.

– Пять городков за седмицу пожгли! Добра столько набрали, не унести – не увезти! Но вам мало добра смердов! Не ты ли, Минька, в прошедший четверг драгоценный покров и чашу из храма Рождества Пречистой Девы присвоил? Мои люди говорят, будто даже спешиться не соизволил! Верхом на паперть вперся! Говорят, будто ты церковного звонаря на копьё насадил!

– Не иа! Не иа, гхы, гхы... – заперхал, задохнулся Локис-Минька. – Это твоего боярина, Адрейки Осляби, холоп Дубыня содеял! Это он звонаря на копьё поднял! Это он первый в храмовые двери факел закинул! Иа добро уже из-под горящего купола выносил!

Андрей Ольгердович сделал два широких шага в сторону Локиса-Миньки. Клинки со змеиным шипом покидали ножны. Следом за старшим братом на перетрухнувшего огнищанина надвигалась глыба Дмитрия Ольгердовича.

– За чито миниа побить хотите? Я добро спасал... Я готов отдать, вернуть... Отойди, князь. Страшен, страшен лик твой! Ваше Величие... мои умения... мои познания... – с перепугу литовский огнищанин сбивался на родную жемотийскую речь, брызгал слюной, кашлял. Перед длинным, сплошь покрытым оспинами носом его сверкало острие полоцкого меча.

Дмитрий же Ольгердович, загасив ногой чахлый костерок, встал плечом к плечу с братом.

– Сыновья мои первородные, – прорычал Ольгерд, – на войне не избежать бесчинств! А ты, Минька, воюй, но знай меру. Литовский княжеский дом почитает православную веру. Повелеваю: впредь церкви не жечь!

– То не иа! – стонал Локис-Минька. – То Егор Дубыня пожёт!

– А Дубыне дать розог! – рычал Ольгерд. – Эй, Ослябя!

– Не стану сечь своих людей в походе... – мрачно ответил Ослябя, поднимаясь со своего места. – Нам до рассвета в дозор уходить. Я без Дубыни не стану разведку вести. Да и не жёт он храма. Навет это!

– Выплешь ему розог в виду Москвы, – отрезал Ольгерд. – Чтоб другим неповадно стало православную веру оскорблять.

* * *

К Москве шли быстро, чтобы нагрять туда внезапно, ведь это уже полпобеды. Следом за полками, по утоптаным стежкам бежали стаи волков. Морозными ночами слышали воины заунывное пение лесных охотников, а порой между стволами, в гуще густого подлеска горели алыми огнями голодные очи. От холода да усталости, от зимней темени да неотступной тревоги нападала на ратников тягучая, голодная тоска.

Ослябя с отрядом уходил вперед и в стороны, на вылазки. Так ему казалось и сытней, и веселее жить. Возвращался всегда с добычей: то кабанчика завалят, то изловят осмелевшего смерда на снях. В начале декабря по войску прошёл слух: дескать, вернулся Ослябя из дозора с плохими вестями. Несколько вёрст не дошли до Москвы любутские дружинники – остановил их дымный смрад. Заметили, дескать, даже огненные всполохи в лесу. Ольгерд приказал войску остановиться, выждать, не лесной ли пожар движется навстречу. Так ещё и день, и ночь просидели с конями в сугробах. Но на этот раз великий князь смилостивился, позволил разжечь костры. Да что толку! Провели кое-как ещё одну тревожную ночь под неумолчный волчий вой. Доброму Дубыне казалось порой, что над самым ухом его голодно клацают волчьи зубы. Так и не сомкнул глаз любутский трубач, оберегая усталых коней от лютой участи.

И снова до света затрубили рога. И снова войско на конь. И снова пешие полки тащатся по дубравам, утопая по колено в снегу. Вблизи Москвы нашлось на поживу литовскому войску и зерно в амбарах, и живое мясо в хлевах. Не всякую ночь в лесу ночевали. Выпадали и ночевки в теплых избах хлебопашцев. Ночью грелись печным теплом, а поутру – рьяным полыменем горящих жилищ. Так и шли к Москве, оставляя за спиной пепелища и кровавый, истоптанный снег. Нет, не ждал в эту зиму Митька-малолеток к себе гостей, не помышлял о сражении. Снулые подданные его встречали вражеское войско широкой зевотой, словно не воины к ним из лесу вышли, а стадо оголодавших оленей. Опамятовались лишь в колодках, когда уж поздно было спасать и живот, и трудами нажитое добро. Нет, не предупредил великий князь Владимирский Дмитрий Иванович своих подданных о наползающей беде. Неужто важнейшие дела нашлись? Неужто есть ещё на свете белом занятии, более значимые, нежели война? Радостно шагало войнству ко вражеской столице, отрясли с еловых лап блестящий снеговой покров. К селениям подходили украдкой, не врывались, не разведав наперед обстановку. Живыми никого не отпускали. Если уж смерду посчастливится продлить никчемную жизнь, то только в рабских колодках.

* * *

Ослябя ясно запомнил тот день. Тогда, как полагается, до свету отправились они в дозор. Войско ещё просыпалось, конюший Дмитрия Ольгердовича хроменький Пронька, гремел у коновязи сбруей, а любутские дружинники уже сидели в сёдлах.

Деревенька Насежьево или Нетребьево, кто её разберёт? Жители там оказались, словно медведи, что дрыхнут зиму напролёт. Так во сне и померли от рук тихо нагрянувших гостей, последнего ужаса не испытав.

Деревня мило притулилась между речной излучиной и лесной опушкой. По направлению к лесу пролегал зимник. Видимо, до Москвы уж было рукой подать. Долго или коротко, а разведать надо – решили дружинники. Пошарили в ларях мёртвых поселян, оделись московитами – в бараньи шапки и зипуны. Выкатили из сарая саночки, впрягли в них Сметанку, кобылу Пёсьей Старости, и понакидали в санки добраца, чтоб в случае чего торговыми гостями прикинуться. Мечи и Дубынину палицу спрятали под солому, а ножики в голенища посовали. Пошли быстро – борзая Сметанка легко поспевала за верховыми. Запах гари Ослябя почуял через два часа пути.

Зимник петлял по непролазной чащобе. По обе стороны пути замерзал молодой сосновый бор, вытянувшийся над непролазным буреломом. Что там, за буреломом, за непролазными сугробами? Не болота ли?

– Лес горит! Чуешь, батя?! – крикнул Васятка.

Остановили коней, призадумались. В прозрачном морозном воздухе, под пасмурными небесами, сыпавшими им на головы мелкий снежок, витал дымный запах.

– Леса в эту пору уж не горят, Андрей Васильевич, – заявил Лаврентий, вываливаясь из саней. – В эту пору избы горят да терема. Видимо, впереди сельцо сгорело или городишко.

– Нет на этом пути других городишек, кроме московских посадов, – ответил товарищам Ослябя.

– Это в прошлую зиму не было, – возразил Лаврентий. – А в эту – есть. Смерды избы проворно ладят.

– Проворно ладят, а жгут ещё проворнее, – захохотал Дубыня.

Любутские дружинники спешили. Устало топтались по снегу, придерживая коней за уздечки. Лишь Васятка Упирь не покинул седла. Так и сидел верхом на Ручейке, растирая рукавицами замерзшие щёки. Лаврентий поглаживал Сметанку по крутому боку, поглядывая в припорошенную свежим снегом чащобу с тревогой.

– То не лес горит, – приговаривал Пёсья Старость. – Лес в этих местах недавно горел. Рано ему сызнава гореть. То не лес...

Первым оборотня заметил Ручеёк. Вскинулся, заверещал, едва не выкинул Упира из седла.

Странное существо, в длиннополом тулупе и лохматой татарской шапке внезапно выскочило на зимник, словно сидело за сугробами в засаде, поджидая разведчиков. Пустилось наутек, так странно ковыляя на кривых ногах, словно обе они были переломаны-перекорёжены.

– Эй! – рявкнул Лаврентий, падая в сани. – Стой, неприглядок!

– Дубыня! Готовь аркан! – приказал Ослябя, взлетая в седло.

Север с места поднялся в галоп, помчался следом за санями.

Существо, заслышав погоню, внезапно согнулось наперёд, да так, что шапка слетела с головы, обнажив бритый наголо череп. Ещё миг – и вот оно мчится по зимнику коротким галопом, опираясь на четыре конечности, да так борзо, что коням не угнаться. Полы тулупа волокутся следом, да оглушительно скрипит утоптаный снег.

Ослябя слышал за спиной дружный топот копыт, чуял, как взвилась в воздух петля аркана. Эх, незадача! Дубыня промахнулся! Север обогнал сани. Добрый конь напрягал все силы, пытаясь догнать странного беглеца, скалил свирепо пасть, пытаясь ухватить добычу за полу тулупа. Но беглец не давался. Низко склонив к земле бритую макушку, странное существо несло с невероятной прытью, не позволяя себя догнать. Время от времени оно совершало стремительный прыжок в сторону, вправо или влево, избегая зубов и копыт Севера. Ослябя уже метнул в беглеца оба кинжала. Тесак же держал пока при себе, не желая оставаться безоружным. Наконец в невероятном, нечеловеческом броске беглец выскочил из-под копыт Севера, запрыгал подобно огромной белке между поваленными стволами. Ослябя едва успел остановить коня. До сумерек любутский воевода наблюдал, как, утопая в снегу, цепляясь за сучья, оскальзываясь и бранясь, гонялись его дружинники за странным супостатом. Лаврентий выпустил несколько стрел, но всё в белый свет. Так продолжалось до тех пор, пока не нагнал их сторожевой полк Ольгердова воинства с Дмитрием Брянским во главе. Конники в полном вооружении двигались правильным строем, короткой, ровной рысью, стремя к стремени, готовые каждый миг вступить в схватку с супротивником.

– Что впереди, Ослябя? – крикнул Дмитрий Ольгердович, придерживая коня. – Чуешь вонь? Что горит?

– Летом баяли, будто под Москвой болота тлели. Может, ещё не погасли? – едва слышно ответил Ослябя.

Но Дмитрий не слушал его. Его, крытый царьгородской парчой, алый плащ скрылся в ранних зимних сумерках.

Следом за сторожевым полком подоспел и сам великий князь на покрытом златотканой попоной жеребце, с Марзук-мурзой за седлом и Игнацием Верхоглядом у стремени.

Ольгерд смерил любутских охотничков неприветливым взглядом. Спросил сурово:

– До Москвы снова не добежали? Пожара испугались?

– Охотились на Митькиного доглядчика, – хмуро ответил Ослябя.

– Поймали и запытали до смерти? Что выпытали?

– Убежал от нас доглядчик. Мои дружинники говорят, будто нелюдь это...

– Стоило ли за нелюдем по буреломам гоняться? – усмехнулся Ольгерд. – От него правды о Митькиных полках не дознаешься. Недоволен я тобой, Ослябя, и повелеваю более от меня не отлучаться. Следующий привал в виду московских посадов устроим. Эх, что ж за вонь невозможная? Где пожар? Что горит? Эй, любутцы! Зачем головы повесили? Скоро будет вам потеха под московскими стенами! Умоетесь кровью православных братьев!

Утробный хохот Марзука-мурзы был подобен треску сухих, промерзших сучьев. Так развеселился карлик, что из глаз его раскосых покатались блестящие капли.

– Уж не опередили ли нас, Ваше Величие? – прохрипел татарский царевич, смахивая с усов слезинки. – Что, если не успели мы испытать бранной чаши? А вдруг пожег Москву темник Мамай или царевич Арапша постарался?

– Не смущай ты меня, друг, – задумчиво отвечал Ольгерд. – Помилосердствуй. Войско устало в пути, натерпелось сраму под Можайском, мечтает о победе, жаждет настоящей добычи. Пусть будет по Ослябеву слову. Пусть тлеют московитские болота!

* * *

Ночь провели в молчании, двигаясь по притихшему лесу, с неизъяснимой тревогой за плечами и отвратительным смрадом в ноздрях. Время от времени всадники спешили, чтобы движением прогнать из тела холод и дать отдых коням. Тишина зимнего леса нарушалась лишь скрипом санных полозьев и ропотом редких разговоров. Ослябя невольно слышал тихие голоса товарищей и всё вспоминал мечущуюся под копытами Севера согбенную фигуру в длиннополом тулупе.

– Видал я таковых нелюдей, – шептал старый любутский дружинник Онисим Выселок, знаменитый тем, что не менее десяти лет прожил в рабстве, в Сарае¹⁸ и сумел бежать. – Таких нелюдей беки держат в зверинцах. Мортихами их называют. Привозят их иудейские купцы из-за синя моря. Сильно мортихи эти на людей похожи, но всё ж не люди. Ни по-русски, ни по-татарски не разумеют...

– Сам ты мортиха! Оборотень это! – с досадой отвечал ему Васька. – Эх, жалость! Но кто ж знал, что в Московии оборотни обитают! Эй, Дубыня! Одолжи, брат топорик! Осиновую палку остругаю, поймаю ирода за хвост, воткну сатанинскому отродью между ребер!

– Против оборотней чеснок очень помогает, – бубнил Лаврентий. – Ты, Вася, чесноком обвесься. Свяжи луковы ожерельем и поверх кольчуги нацепи. Да не забудь сожрать несколько зубцов. Да когда жрать станешь, не глотай целиком, а жуй. Жуй так, чтобы из глаз соленая водица пролилась. Да брагой не забудь запить. Вот будет потеха, когда на оборотня русским духом попрёт.

* * *

На берег речки Неглинной вышли перед рассветом. Принялись разбивать лагерь на Кудринском холме, полагая, что находятся в виду стен сосковского кремля. Ольгерд не запретил возжечь костры и воинство наконец-то отведало горячей пищи.

Ослябе не спалось. Странное предчувствие томило его. Оставив Севера на попечении Упия, он отправился бродить по-над берегом. Сначала шёл по верхушке пологого холма. Злые зимние ветры упрямо сдували с этого места снеговое покрывало, обнажая стальные камни. Поземка забиралась под полы Ослябева тяжелого плаща, остужая уставшее тело. Едва спустившись в ложбину, любутский воевода почувствовал, что промёрз до костей, да к тому же глубокие снега пресекли его путь. Хорошо, что под одинокой сосной обнаружился шалаш – убежище посадских пастухов, а в шалаше – небольшой запас хвороста. Так – наедине с крошечным костерком, под ветхим покровом старых веток – провел Андрей Ослябя первую ночь под стенами Москвы.

¹⁸ Сарай – город, в XIV веке столица Золотой Орды.

С наступлением дня любутскому воеводе открылась она – владычица дум. На противоположном берегу реки чернели обугленные остовы. Сожженный посад уже не курился дымами. На чёрном снегу, между обугленных головешек, Ослябя, сколько ни присматривался, не заметил ни единого движения.

Над пожарищем, припорошенным свежим снежком, упирались в сумрачные низкие небеса белокаменные стены. Широкие тулова крытых тёсом башен, грозный оскал зубчатых стен, гордое сверкание храмовых куполов, осенённых большими крестами – всё суровое великолепие нового града Московского благовестило миру о неколебимой, надёжной уверенности в собственных силах и величии.

– Наконец-то... – пробормотал Ослябя, поднимаясь в полный рост. – Наконец-то я добрался до тебя! Вот какова ты нынче, Москва!

Уединение его оказалось коротким. Вскоре на высоком краю оврага возникла воронопегая скоморошья фигура Ручейка.

– Батя! – возопил Упирь. – Тебя призывают в княжеский шатер! Игнашка прибежал, настрого велел разыскать! Слышишь ли меня, батя?

* * *

Пробираясь к великокняжескому шатру между палаток и наскоро сооруженных коновязей, Ослябя заметил несуразную возню вокруг высокого помоста, который в страшной суете и спешке ладили людишки Локиса-Миньки.

– Куда спешишь, пыточных дел мастер? – услышал он вослед себе насмешливые голоса. – Не торопись, Ослябя! Скоро для и тебя мастерскую наладим! На твоих же людишках и инструмент испробуем!

Ослябя откинул полог великокняжеского шатра.

– Теперь я знаю, зачем унижался Михайла Александрович! – Ольгерд едва шептал, но речь его хорошо была слышна каждому. В шатре царила угрюмая тишина, нарушаемая лишь скрипом кольчужных колец и сиплым хихиканьем Марзука-мурзы.

– Не стеснялся унизиться, рыдал, сестриним подолом утираясь... – голос князя Литовского пресёкся. Услужливый Игнаций Верхогляд подал правителю кубок с горячим вином.

– Видом не видывал, слухом не слыхивал я, чтобы осажденные, прежде чем затвориться в городе, сами сжигали дотла свои посады! Что скажете, первородные сыновья мои?

– Это от отчаяния... – молвил неуверенно Андрей Полоцкий. – Мощи твоей убоялись, отец.

– Богато живут, – сказал свое слово Дмитрий Ольгердович. – Есть, видно, в закромах и зерно, и лишняя копейка. Уверены, что, прогнав нас, посад заново быстро отстроят.

– А ты, боярин Андрей, почему отмалчиваешься? – колючий взгляд Ольгерда уперся в Ослябю.

– Они готовы на всё и будут стоять до конца. А посады отстроить заново – невелик труд, если такие-то стены и храмы сумели возвести, – ответил любутский воевода.

– В ужасе я, Ваше Величие, – пролепетал Локис-Минька. – Из чего станем осадные башни и лестницы сооружать? Я уж отправил команду дерева валить, но посадские домишки для нужд осады разобрать было бы куда как проще. Эх, обманул нас Митька!

– То не Митька, – Ольгерд протянул Игнацию опустевший кубок. – То владыки Алексия ум изощренный. Это митрополит к земному прибытку равнодушен и имущество, трудами нелегкими нажитое, бренной пылью дорожной почитает. И ведь прав! Прав!

Острое лицо великого князя Литовского и Русского исказила гримаса мучительной досады. Ольгерд вскочил, отшвырнул в сторону только что наполненный Верхоглядом кубок. Украшенный изящной чеканкой сосуд пересек пространство шатра, ударился об кол,

подпиравший узорчатый купол. Пахучее варево расплескалось по коврам, распространяя живительные ароматы весенних трав.

В великокняжеском шатре повисла тишина. Затихли и лагерные шумы. Казалось, будто войско прекратило исполнять привычную работу – подготовку к осаде. Умолк и великокняжеский совет, придавленный бременем тяжких сомнений.

Первым поднялся с места Андрей Полоцкий.

– Надо готовиться к осаде, отец, – сказал первородный сын Ольгерда, покрывая голову высокой медвежьей шапкой. – Не напрасно же мы две седмицы по лесам да по оврагам снег месили. Не дадим москвитам надсмеяться над доблестным войском!

И князь Андрей покинул шатер. За ним последовал Дмитрий Ольгердович, огнищанин Локис-Минька, Фёдор Балий, прочие бояре.

Ослябя также шагнул было на выход, но сбился с шага, замер, словно натолкнулся на невидимую преграду.

– Попомни мой приказ, Андрей Васильевич, – услышал он голос Ольгерда. – Я не забыл об осквернении православного храма. Дубыня получит полсотни палок до начала осады. Мне угодно умиловить православного Бога. Кто станет палачом – тебе решать.

– Я сам. Сам!

Ослябя обернулся, отдал поклон и вышел вон из шатра, так и не глянув в лицо литовского властителя.

* * *

Помост был готов ещё до заката. Локис-Минька обставил расправу со всей возможной торжественностью. Согнал толпу народа, расставил барабанщиков. Любутская дружина в полном вооружении выстроилась у края помоста. Ожидали безропотно, смирив негодование. Ослябя и Дубыня друг за другом взойшли на помост. Ослябя с длинной жердиной в руках, без шубы, без плаща, в одном кафтане и с обнаженной головой. В свете лагерных костров ранняя седина в его волосах блеснула ярким серебром. Ваське Упирию вдруг подумалось, что редко, ой как редко случается ему видеть отца вот так, почти нагим, без шлема, без кольчуги. Дубыня сжимал в огромных ладонях простой деревянный крест. Загрохотали барабаны.

– Не снимай рубахи, озябнешь, – сказал Ослябя.

– Не боюсь озябнуть, – отвечал Егор Дубыня. – Не боюсь боли. Стыдно, Андрей Васильевич. До дрожи стыдно. Не поджигал я храма...

– Кто поджег, тому от наказания не уйти.

Дубыня опустил на колени. Подбежали Минькины отроки, изъяли из Егоркиных лапищ крест, привязали его запястья веревками к шестам, сунули в зубы берёзовую чурочку.

– Через рубаху не полагается наказывать, – бормотал Ольгердов огнищанин, бегая вокруг помоста. – Почему такое послабление твоему человеку, а, Ослябя? Надо было моего Купрюса допустить... Почему такое послабление?

– Не дрожи, Дубыня, – сказал тихо Ослябя. – Не от моих рук ты смерть примешь, молись, переживем...

И он занес палку для первого удара. Дубыня прикрыл глаза.

– Отдай оружие, Ослябя, – не унимался Локис-Минька. – Пускай мой Купрюс поработает.

Первый удар пришелся Локису-Миньке поперек лба. Огнищанин кулем завалился на спину. Лицо его и бороду заливала кровь. Он зажимал ладонями рану, сучил ножищами, обутыми в хорошие козловые сапоги, но молчал, молчал.

– Ну вот, теперь дело на лад пойдет, – пробормотал Ослябя, занося палку для второго удара. И добавил громогласно:

– Васятка, сынок, читай из Лествицы¹⁹, слово четвертое. Помнишь, я учил тебя? Да не ленись, громко читай!

* * *

Из лесу кони волокли брёвна. Возницы в кольчугах и шлемах понукали усталых одров древками копий. Ладили сразу три тарана. Особо развернуться не удавалось, не добыли достаточное количество строевого леса. Зато народу нагнали тучу. Разделились на три команды, по одной на каждые ворота. Уже соорудили рамы, уже подвесили к ним окованные железом брёвна. Теперь пытались сладить навесы. Работали весело. Вид московских стен, церковных куполов, богатое убранство теремов вселяли в сердца Ольгердовых ратников надежду на хорошую поживу. Со стороны Неглинной реки решили не подступаться. Там, в лесочке, в виду единственных ворот сидел в засаде полк Дмитрия Брянского. Там же, в Ослябевой палатке, возле сложенного на скорую руку очага, болел Егор Дубыня.

Локис-Минька, коварный наветчик, с перевязанным лбом, но весёлый, верхом на кудлатом буром коньке носился от одного тарана к другому, отдавая приказания. Ослябя и Упирь стояли стремя к стреме на берегу неглубокого рва, отделявшего сожжённый посад от крепостных стен.

– Смотри-ка, батя, а Минька-то тоже огородник знатный, не хуже московитов, – усмехнулся Упирь. – Сразу к трем воротам тараны ладит. А башни-то, башни! Я таких огромных не видывал! Как, говоришь, они называются?

– Фроловская, Никольская и Тимофеевская, – угрюмо отвечал Ослябя. Так их мертвый московит называл.

– Ишь ты! Здорово слажено! – тараторил своё Упирь.

Они смотрели, задрав голову, на высокие, в два человеческих роста, стены, на прикрытые деревянными шатрами широкогрудые стрельницы. Деревянные навесы тянулись и над зубцами стен. Оттуда, из-за зубцов в дружинников Локиса-Миньки летели редкие стрелы и насмешливая брань.

– Смотри-ка, батя! Один таран совсем уж готов. Когда же штурм? Эх, поскорей бы. Или Ольгерд Гедиминович надеется московитов из крепости выманить? Вот если бы это удалось, тогда...

– Помер пацаненок-то... Помер нынче утром, – прервал его Ослябя.

– Это тот, которого ты вчера ввечеру поймал?

– ...не дожил до рассвета. Освирепел великий князь, приказал парнишке уши срезать и пальцы. Мне-то понятно было, что не выживет пленник, да что толку, всё одно приказал на кол посадить...

Упирь отвернулся, посопел, поправил шелом, потрепал пеструю гривку Ручейка. Зачем-то снял с плеча лук, наложил на тетиву стрелу.

– Теперь уж понятно: не станут московиты из крепости выходить. Зачем им? Если Минька нынче ночью ворота не разрушит, Ольгерд, скорее всего, завтра отдаст приказ уходить от Москвы, – рассуждал Ослябя. – А ты держи, держи лук наготове!

– Это означает, батя, что мы без добычи останемся? Что напрасно топали за тридевять земель и в снегу тонули?..

– ...Дубыня болен. Не сесть ему на коня, придется волокушу ладить и так везти. А пока давай-ка, парень, подберемся к стене поближе, послушаем, посмотрим.

– Камнями зашибут, батя.

¹⁹ «Лествица» – руководство по нравственному самоусовершенствованию преподобного Иоанна Лествичника, христианского философа и богослова, жившего на рубеже VI–VII вв.

В этот момент первый таран тронулся с места. Загромыхали по настилу неуклюжие колеса. На Фроловской башне народ оживился. Чаше засвистели стрелы. Перелетел через стену и грохнулся на настил моста огромный валун. Брызнули в разные стороны щепы.

– Давай торопись, – Ослябя направил Севера вниз, к руслу крепостного рва, где вода уже давно и крепко замёрзла.

Им удалось подойти к стене вплотную. Ни единой стрелы не выпустили по ним защитники. Ручеёк волновался, перекатывал во рту грызло, но стоял смирно.

Ослябя, запрокинув голову, смотрел из-под налобья шлема на ровную белую кладку.

– Батя, отъедем, а? Неровен час, на головы смолы нальют. Зачем искушать судьбу?

Ослябя спешил, подобрался вплотную к стене, скинул шелом, прижался щекой к камням. Он водил по кладке стены ладонью, приговаривая:

– Посмотри-ка, Васятка, какая кладка ровная! Девичья кожа и то не столь гладка. Да-а-а, постарались огородники²⁰, на славу постарались...

– Что там, батя? Что слышно?

Ослябя умолк, прислушиваясь.

– Надень шелом. Со стены могут камень уронить, – не унимался Упирь.

Славно услышав его призыв, огромный валун взорвал снег прямо перед мордой Севера. Конь отпрянул назад, но сдюжил, не пустился наутёк.

– Шелом не поможет, и Минькины ухищрения тож. Там, за стенами, большое войско. Нас ждали, готовились к осаде. Всё попусту, попусту...

Ослябя и Васятка продолжили путь по крутому склону холма, вдоль кремлевской стены, завернули за угол. Так и пробирались между стеной и руслом Неглинной реки к мосту. Там, за мостом через Неглинную, за обугленным посадом тот самый лесок, где расположился лагерь полк Дмитрия Ольгердовича. С этой стороны городская стена казалась пустым-пустой. Тем не менее стоило им выскочить на мост, тотчас же вослед засвистели стрелы. Один из стрелков оказался метким. Уже на излете стрела угодила Упирию в шею, каленый наконечник застрял в кольцах бармицы.

– Давай, давай! – понукал Ослябя.

Показалось ли им, или в самом деле заскрежетали петли воротин у них за спинами? Погоня? Копыта коней гулко стучали по настилу моста. Более не слышно было ничего. Они уже вылетели на противоположный берег Неглинной. Кони ступили на утоптаный снег. Но грохот копыт по настилу не утихал. Более того – над их головами снова засвистели стрелы. Защитники крепости вышли за ворота. Чужая погоня, Север ударился в сумасшедший галоп. Ручеёк не отставал.

– Они устроили вылазку! – хрипел Упирь. – Они решились! Мы выманили их!

Через прорези забрала Ослябя видел, как из леска им навстречу выскочили всадники. Дмитрий Брянский не дремал.

– За мной! – рявкнул Ослябя и направил Севера в сторону от места скорой схватки, вдоль берега Неглинной, назад к Фроловской башне.

* * *

Утыканный стрелами таран вяло горел. Оранжевое пламя стекало на снег, не успев как следует вгрызться в свежеструганные доски. Локис-Минька знал секрет колдовского зелья, которым не ленился тщательно обмазывать доски навеса. Воняло зелье отвратно. В войске толковали, будто изготовлено оно из яда гадюк, неустанно плодящихся в литовских болотах. На мосту кипела нешуточная заваруха. В воздухе стоял смрад нечистот, которыми защит-

²⁰ Огородниками в старину называли мастеров по постройке крепостей.

ника башни усердно поливали Минькино воинство. Таран глухо долбил в ворота, неизменно попадая окованным наконечником по мешкам с мякиной. Мешки эти защитники спускали на веревках с верхушки башни. Порой удачливому лучнику-литвину удавалось перебить веревку, и мешок валился под колеса тарана. Тогда московиты, отчаянно бранясь, спускали на веревке железные зубцы. Ох, и водились же у них ловкачи! Ловили таран зубцами, дергали кверху. Минькиным подданным никак не удавалось толком раскатать окованное железом бревно.

Ослябя и Упирь остановили коней. Надобно было отдышаться. Погоня московитов отстала, увязла в схватке с брянскими дружинниками.

– Лук не потерял? – спросил Ослябя, скидывая на снег латные рукавицы. – Давай-ка его мне... и стрелы две.

Ослябя прицелился, выпустил стрелу, потом вторую, выдохнул удовлетворённо.

На залитом кровью и нечистотами мосту перед Фроловской башней Московского кремля свершились странные дела. Вскрикнул не своим голосом огнищанин Ольгерда Гедиминовича Локис-Минька. Шальная стрела угодила ему прямёхонько в правый глаз. Вошла неглубоко, видимо, лучник стоял в отдалении, но меткий оказался злодей. И всё бы ничего, но следом за первой прилетела вторая стрела. Она пробила шею Минькиного лохматого скакуна. Конёк жалобно заржал, стал на дыбы, оступился да и грянул с моста в ров вместе со всадником.

– Возвращаемся к своим! – скомандовал Ослябя.

* * *

– Не нравится мне эта война, – шипел Ольгерд. – Разве я ордынский хан? Нет! Я знаю своих людей поимённо! Не сотнями, не тьмами считаю! У меня каждый человек на счету! Тошно мне смотреть, как воинов моих поливают со стены нечистотами, как сыплют им в глаза песок, как убивают стрелами! Да-а-а, негостеприимно нас встретила Московская земля, и она заплатит за это, дорого заплатит!

В великокняжеском шатре было сумрачно и жарко. Члены совета хранили удручённое молчание, не притрагиваясь ни к еде, ни к питью. Напрасно ходили между боярами княжеские отроки, предлагая кушанья. Хорошо, если не гнали взашей литовские воеводы – так отнекивались и отмахивались. Верхогляд так и вовсе глаз не казал, притаился в тёмном углу. Это он, бедолага, принёс Ольгерду дурную весть. Локис-Минька – наиглавнейший мастер осады – убит! Да как убит! Дорезан, будто боров-подранок в собственном шатре коварным лазутчиком. Прошедшим днём мастер стенобитных дел был принесён от крепостной стены с тяжёлым ранением в голову, но живой. Потерял Локис-Минька глаз, эка невидаль! Переломал ноги Минькин конь, так тот конь слова доброго не стоил – невзрачная, ледащая скотинка. Великокняжеский лекарь лично пользовал огнищанина, божился, что на третий день сядет Минька на подаренного Ольгердом путёвого жеребца. Но Минька не дожил и до вечера. Через час после ухода лекаря Минькин прислужник, немой литвин обнаружил хозяина в луже крови. Зарубили Локиса с честью, мечом поперек груди полоснули, рассекли тело надвое, аж до самых позвонков.

Получив ужасное известие, Ольгерд Гедиминович не на шутку заскучал-затосковал. Марзука-мурзу с его заветным блюдом призвал, заставил немедля в блюдо смотреть, провидеть, кто по лагерю шатался и Локиса верного прирезал. Неужто свой? А если чужак-московит, то как смог в лагерь пробраться, мечом вооружённый, как прокрался мимо дозоров и как великокняжескую стражу ухитрился миновать? Но блюдо колдовское казало лишь чушь одну да ересь, пожары да заснеженные леса.

– Повелеваю осаду снять и выступать в поход! – и Ольгерд надсадно закашлялся. Никчемное стояние под Москвой состарило великого князя Литовского и Русского. Ольгерд Гедиминович смерзся, ссутулился. В подглазьях залегли синие тени, борода слиплась и пожухла, нос загнулся крючком к верхней губе. Сыновья с тревогой и недоверием посматривали на отца. Шутка ли – правителю литовскому давно перевалило на восьмой десяток! Уж более пятидесяти лет он не сходит с седла, ведя победоносные войны! Чем-то закончится для него этот несчастливый поход?

– Попусту пришли, попусту уйдем. Так, Ваше Величие? – встрял Марзук-мурза. – Войску обидно без прибытка домой возвращаться.

– Повелеваю оставлять за собой пустоземье! Никого не щадить. Если не в полон, так на плаху! Что не наша добыча, то пожива для огня! – возрычал Ольгерд. – Московиты зажиточны и плодovitы. Обрастут добром – мы их снова навестим!

* * *

Так уж повелось: в походе любутская дружина далеко опережала основное войско, а когда дело доходило до отступления, шла последней, наблюдая, предупреждая о неожиданном преследовании.

Истоптанные, в пятнах кострищ склоны Занegliменья обезлюдели. Из надежного схрона Ослябя наблюдал торжество московитов. Видел он, как шумная толпа выплеснулась из-за стен. А народищу-то! А веселья-то! Зоркий глаз разведчика разглядел в толпе и молоденького князя со свитой, и благолепный митрополичий выезд.

Молебн отслужили в чистом поле, прямо у злополучного Фроловского моста. Благословясь, принялись чинить порушенные камнями переходы через ров, разбирать пожарища. Но до этого разгулялись на славу! Какой же праздник без доброй драки? Кулачные бои затеяли, будто мало им стало вражеского нашествия. Да и не ушел ещё противник, ещё топчут его кони Московскую землю, ещё грабят его дружины беззащитного пахаря. А московиты что же? Им бы вдогонку за Ольгердом выступить, а они на московском льду друг дружке морды молотят!

– Утикать надо, Андрей Васильевич! – ныл Пёсья Старость. – Поймают, запытают, на кол посадят!

– Нестрашно пугаешь, – отнекивался Ослябя. – Вот Дубыня восстанет и тогда...

– Восстанет! Чего ж ему не восстать-то? Слава богу, ребра целы!

Что-то удерживало Ослябя возле Москвы. Не только скорбная хворь оговоренного Дубыни. Странная забота томила, будто потерял-позабыл что-то у белокаменных стен. Целыми днями бродил Ослябя в мужичьем тулупе и валенках вокруг да около, проваливаясь по пояс в снега. В руках лук, за плечом колчан, нож в голенище. Подбирался вплотную к командам лесорубов, но разговоров не слышал, только ёкающие удары топоров да печальный звон мерзлых стволов. На четвертый день по возвращении в лагерь застал Дубыню сидящим у входа в палатку с мечом и точилом в руках.

– Ожил! – обрадовался Ослябя.

– Как не ожить, – загудел Егорка заунывную песнь Пёсьей Старости. – Кругом московиты шныряют. Скоро до нас доберутся. Харчи подьедены, кони под сёдлами. Что делать-то, а?

– Утекать, – вздохнул Ослябя.

* * *

Бешеная скачка, погоня и колокольный звон за спинами. Над головами свист стрел. Пал конь Терентия Мышки. Сам Терентий принял смерть легкую – зарублен московитским мечом. Васька ранен. Каленый наконечник угодил ему в бедро. Вытаскивать стрелу нет возможности. Ручеёк уносит его из-под вражеских стрел, но всё попусту. Болт пробивает кольчугу Упия, вонзается в спину, под сердце. Васькин тулуп залит кровью. Ручеёк ускоряет бег. Ох, и резов же этот конь, горяч, буен, предан, не выбрасывает из седла мёртвого всадника, несёт! Несёт, словно горячий угар скачки сможет вернуть его, оживить, снова заставить биться остановившееся сердце.

Ослябя слышит только мерный топот и свист морозного ветра в ушах. Стрелы больше не нагоняют их. Ослябя оборачивается. Лицо горит, тело стонет от натуги, пальцы онемели, но погоня отстала. Отстала! Впереди, между заснеженных елок мелькает хвост Ручейка. Любутская дружина уходит от погони, взметая копытами коней тучи снежной пыли.

– Стой! – хрипит Ослябя, натягивая повод. – Стой, Ручеёк! Лаврентий, лови его! Держи!

Он спешил поодаль, не стал подъезжать к своим верхом на Севере, повел коня в поводу. А они встали в круг над телом Васятки. Лишь смертельно усталый Дубыня бухнулся в сугроб неподалеку. Лаврентий обнимал пятнистую морду Ручейка, приговаривал ласково:

– Терпи, сынка. Ах, буйная твоя головушка! Ах, горе! Терпи, терпи...

* * *

Схоронили Василия, как положено, на кладбище, на Верхотинном погосте. Там нагнали они Ольгердово войско, там нашли едва живого от страха попа. Дубыня, глотая слезы, всю ночь читал над Василием псалтырь. Звонкие удары топоров и мотыг вторили его печальному голосу. Споро вырыли могилу, опустили на дно домовину²¹, засыпали мёрзлой землей, водрузили крест. Шелом и тесак положили на могильный холмик. Постояли, головы склонив, да и разошлись.

* * *

Наступила ночь, но не принесла покоя.

– Андрей Васильевич, батюшка, где ты? – услышал Ослябя зов Дубыни. – Тяжело мне, ой тяжело! Нездоров я, смиловись, отзовись! Дружина перепилась, горе заливали, да в заливе и потонули. Один я на ногах могу стоять, ходить, бродить, тебя искать...

В кромешной тьме зашуршали мерзлые ветки орешника, растекся в морозном воздухе перегарный дух. Дубыня был совсем рядом, но никак его, Ослябя, не находил.

– Здесь я, Егорка. Поверни башку на восход.

Раздался утробный сап, рыдание, и тяжелая фигура Егора Дубыни навалилась на Ослябев хребет.

– Больно! – Ослябя всхлипнул, задохнулся. – Отлезь с меня, удавишь!

– Не плачь, Андрей Васильевич, я тебе медку нёс. Да прости уж, не всё донес, часть отпил. На, пей, не плачь!

²¹ Домовина – гроб.

– Заплакал бы я, да невмочь. Убился бы, да грешно. Хоть бы ты, Дубыня, смилостивился. Хоть бы рассёк мне шею мечом. А что? Достойная смерть. Или не заслужил я, душегубец, достойной смерти?

– Андрей Васильевич, родимец...

– Видно, так мил я Богу, что каждого, кого полюблю, забирает в свои чертоги. Не хочу, не стану больше никого любить. Ах, Вася, Вася...

Дубыня молчал, растерянно почесывая в боку, шмыгая носом, постанывая. Русая борода его и брови, и ресницы были мокры от слёз.

– Не стану я тебя мечом рубить, – сказал он наконец. – Хороший ты человек, незлой, хотя и жестокий.

– Что в лагере? – Ослябя единым духом проглотил терпкий мёд, донесённый заботливым Дубыней.

– Под избы хворост нанесён. Ночь переночуют, утром запалят – и в дорогу. Пахарей в колодки, в полон. Ну, это тех, кто жив ещё.

– Что? Многих перебили?

– Перебили, да немногих, да по-божески, быстро, не глумясь. Верхогляд прибежал, о тебе дознавался. И Фёдор Балий... Этот просил пожаловать к Дмитрию Ольгердовичу на двор.

* * *

Войско двигалось медленно. Тащили немалый обоз: розвальни, волокуши, сани, гружённые добром. Гнали скот и колодников. Ольгерд со свитой стал во главе войска. Дмитрий Ольгердович с дружиной замыкал торжественное шествие от столицы княжества Московского к его дальним рубежам. С Дмитрием Брянским шли остатки любутской дружины. Шли с оглядкой – то отставали, то вновь нагоняли. Опасались, вдруг Митька надумает послать полки вдогонку? Однако зимник позади них оставался пуст.

Оборачиваясь, Ослябя видел только вытоптаный, изгвазданный испражнениями снег, следы кострищ да сверкающие в непролазной чащобе несытые волчьи очи. Конские трупы оставляли на съедение лесным хищникам, как и трупы пленников. Своих людей – болявых или пораненных, не вынесших дороги – хоронили. Шли, не таясь, от одного погоста к другому. Согревались кострами пожарищ. Что не годилось в добычу – и добро, и людей – всё предавали огню. Так двигалось Ольгердово войско: стон, плач, вой и треск пламени сопровождали его. По лесам окрест кружила ненасытная волчья орда, в небесах парили стаи разжиревших падальщиков.

* * *

Вторую половину дня шли умеренной рысью по зловонному следу отступающего войска. Видели на обочинах зимника окоченелые трупы колодников. Лаврентий поначалу пытался их считать, но на втором десятке сбился, сплюнул в досаде. Смеркалось. Они остановили коней на заснеженной речной излучине. Зимник сворачивал влево, вдоль берега.

– Речка Нудоль, – сказал бывалый Лаврентий. – На том берегу деревня. Козловка, Потравка... или как там её, бог разберет!

На противоположном берегу, за лесочком высоко вздымалось зарево пожара.

– Пойдем напрямик, – решил Ослябя.

Размолотили копытами лед на тихой Нудоли, взобрались на берег. Вымокшие и промерзшие, они ввалились в несчастную Козловку уже поздней ночью. По певучему снежку, чуя близкое тепло, разбежались-разлетелись кони.

На краю деревеньки догорал амбар, расцвечивая снежок желто-багровыми искрами. В центре деревеньки, над крышей постоянного двора, озаренная огнями высоких костров трепетала «Погоня». Верхогляд выскочил под копыта Севера так, словно специально поджидал за углом.

– Великий князь зовет тебя, боярин! – Ольгердов отрок схватил Севера за узду. – Пожалуй в светлицу, тебя заждались.

* * *

Ослябя и без помощи Верхогляда нашел бы княжеский терем. Перед входом, у крыльца темнели сваленные в кучу копья, мечи, пики. Все в богато изукрашенных ножнах. Тут же разместились и щиты. Дмитрий Брянский, Балий, Симеон Тупое Копыто, Нирод Ариборович, Довмонт – всё были тут. Ослябя замер на мгновение. Кого же не хватает? Миньки-огнищанина? Так он мёртв, потому его нет его на великокняжеском совете.

В горнице было тесно, жарко, пахло пряным мёдом, свежеепеченным хлебом и конским потом. Столы ломились от яств. Тут был и хлеб, и сыр, и чечевица, и мясо в изобилии, но почти вовсе не было вина. Каждому в Ольгердовой дружине ведомо: великий князь Литовский и Русский не берет в рот хмельного и возле себя терпеть пьяных не станет. Бояре пили понемногу, с оглядкой на государя. В гомоне весёлого, на первый взгляд, застолья Ослябя почуял отголоски ссоры. Гнев, обида, досада читалась на лицах литовских бояр. Княжеское место во главе стола занимал Марзук-мурза. Татарин развалился на взбитых подушках, высоко закинув ножки, обтянутые алым сафьяном. Сам Ольгерд Гедиминович расположился в углу, под образами. Недвижим и молчалив, он прятал лицо в складках капюшона. Ослябе показалось сначала, что князь Литовский крепко спит.

– Богатая добыча, на всех хватит! – вещал Марзук-мурза. – Зачем ссориться, бояре?

– Зачем? – взревел Тупое Копыто. – Затем, что тебе, инородцу, иноверцу, нехристию, самые жирные куски достаются! И золотая казна, и меха, и кони, и невольники!

– Да разве ж тебе, Симеон, мало досталось? Чем ты недоволен? В чём тебя обделили?

– Да кто ж ты таков, чтоб нас наделять?! – рявкнул Фёдор Балий. – Разве ты русский князь? Разве ты нашего рода-племени?

– Оставь, Фёдор. Оставь домогательства! – Ольгерд говорил негромко. Боярам пришлось поутихнуть, чтобы расслышать речь властителя княжества Литовского и Русского.

– Марзук-мурза получит обещанное мною, а потом настанет и ваш черёд!

– Это несправедливо, отец, – возразил Дмитрий Брянский. – Чем дальше от Москвы, тем беднее волости. Что достанется нам на границе со Смоленщиной? Подопревшее жито?

– Что добудете – всё будет ваше, – ответил Ольгерд. – А ты, Ослябя? Молчишь? Не просишь уплаты за труды?

– Как мне просить? Ты ведь обещался расплатиться со мной по возвращении в Вильно. Золотом обещал расплатиться. У моей дружины обоза нет, некуда московитское жито сгружать.

– Расплачусь, сполна расплачусь! – Ослябе показалось, будто Ольгерд усмехнулся. – А пока садись, боярин, к столу и расскажи нам, что видно, что слышно в пустом лесу.

– Эй, Марзук! – не унимался Тупое Копыто. – Хоть девчонку отдай! Зачем она тебе? Только понапрасну уморишь! Ольгерд Гедиминович, рассуди! Для чего карлику девчонка? Уморит! Не бери греха на душу, отдай её мне!

Так гомонили Ольгердовы бояре до глубокой ночи. Сам великий князь больше молчал. Погружённый в оцепенение, он всю ночь так и просидел под иконами. Порой Ослябе казалось, будто смотрит на него Ольгерд, смотрит испытующе, словно под кольчугу взглядом проникнуть хочет.

Под утро, перед поздним рассветом, услышав на совете всё, что требовалось услышать, Ослябя решил отправиться к своей дружине, на покой. Вышел в прохладные сени, постоял, вдыхая воздух, пропитанный запахами сухой березовой листвы.

Внезапно по половицам застучали подкованные сапоги.

– Постой, Ослябя! – рука Дмитрия Брянского опустилась на его плечо.

Ослябя обернулся. Богатая борода Дмитрия, закрывавшая шею и верхнюю часть груди, была усыпана хлебными крошками. Медный нагрудник с искусно выгравированным всадником – «Погоней» – поблескивал в полумраке сеней. Красивое лицо его исказило страдание. Синие глаза, отуманенные хмелем, смотрели отрешённо.

«Что с ним? – подумал Ослябя. – Болен? Ранен? Пьян!»

– Не в силах я далее внимать отцу, – тихо сказал Дмитрий Ольгердович. – За пять дней отступления сожгли три храма, а изб и теремов – несчётное количество. Смерды бегут от нас, как от чумы, едва заслышав о приближении. Брат мой, Андрей Ольгердович, ушел с дружиной вперед. Сослался на тесноту в злополучной Козловке. Думаю, мы его нес скоро увидим. А ты, Ослябя...

Дмитрий умолк на минуту. Его тело закачалось, и он ухватился за стену.

– ...ты берегись. Убийство Локиса не забыто. Ты на подозрении у Марзука. Что-то там видел он в своём зеркале, или пригрезилось ему, сатанинскому отродью... Зачем-то он зуб на тебя точит. Берегись!

Отстранив Ослябю, брянский князь вышел на морозный воздух, постоял. Из тёмных сеней Ослябе была ясно видна его громадная фигура. Князь стоял, понутив голову, широко расставив столпообразные ноги. То принимался растирать лицо снежком, то тяжело выдыхать, изгоняя из груди непрошеное рыдание. Медленные снежинки саваном ложились на его седеющие кудри, на плечи.

– Вот оно что! – пробормотал Ослябя. – Андрей Ольгердович прочь подался, и Дмитрий о том же помышляет!

* * *

После полудня дело едва не дошло до драки. Под ярким полуденным солнцем, на площади перед постоялым двором Симеон Тупое Копыто не на шутку схлестнулся с Марзуком-мурзой. Впрочем, поединка не вышло. Карлик с невероятным проворством взобрался за Ольгердово седло, на своё законное место.

Тупое Копыто дыбил бороду, багровел лицом, хватался на рукоять меча. Причина ссоры стояла тут же, посреди деревенской площади, обряженная, словно боярышня, в дорогие меха. Ослябя посматривал на девочку со скукой и жалостью. Кому из двоих она ни достанься – наиграются и бросят. И всей-то было у неё красоты, что длиннющая, едва не достающая до пяток, коса. Что в ней? Личико курносое, конопатое, тельце худое, недокормленное, глаза отуманены ужасом – ни смысла в этих глазах, ни веселья. Нет, не такова была Агаша. Эка невидаль: литовское мужичьё одичало в походе, вот и зарятся.

– Убирайся, Симеон! – приказал Ольгерд, разворачивая коня. – Эта девка отдана Марзуку, а ты другую добудешь.

Марзук-мурза, ухмыляясь, пускал в лицо Тупому Копыту солнечные зайчики с помощью небольшого блюда, вынутого из-под полы, на котором обычно совершал гадания. Великий князь неспешно поехал. Верхогляд и Довмонт с дружиной последовали за ним.

А девочка осталась стоять посреди площади, возле розвальней в окружении Ольгердовой челяди. Повинуясь воле всадника, Север сделал несколько коротких шажков, приблизился к девочке.

– Как звать тебя?

– Настасья...

– Чья ты?

– Племянница хозяина этого вот кабака, – она указала тонкой ручкой в сторону постоянного двора. – Я сирота.

Она смотрела настороженно, с пытливой опаской, словно пытаясь проникнуть взором за прорези забрала, рассмотреть получше лицо того человека, с которым случилось заговорить. Лет тринадцати, не более. Но замуж выдавать, пожалуй, рановато – ещё не зацвела. Ослябе сделалось не по себе от её взгляда, будто забрались под доспех вездесущие муравья и мельтешат, и щекочут, и кусают.

– Чего хочет чудище? – спросила девочка.

– То не чудище, дитя. То татарский царевич, верный слуга и сподвижник Ольгерда Гедиминовича, вельможа. Он подарит тебе вышитый шелками сарафан, шубку и сапожки, – ответил Ослябя.

Внезапно она ухватила за стремя, потом её пальцы оказались на голенище Ослябева сапога. Ноге сделалось горячо, будто девичьи пальчики прожигали юфть.

– Не отдавай. Оставь меня себе, боярин. Я стану за конём твоим ходить, стирать, готовить. Что ни пожелаешь, всё сделаю. Я умею. Меня учили. Если хочешь – спою, прикажешь – спляшу. На коне могу верхом, могу пешком...

– Пустое это! – Ослябя отвернулся. Север, чуя желание всадника, отскочил в сторону. Руки девочки опустились.

Он не обернулся, не видел, как прислуга Ольгерда закутала девочку в медвежью полость, как скрутила для надежности кушаками. Не видел, как бросили её в сани, поверх добытого в походе добра.

* * *

Погода переменилась, задули северо-восточные ветры, стало пасмурно и выюжно. Дружинникам страсть как хотелось по домам, но бояре, опасаясь великокняжеского гнева, пока держались войска Ольгерда, не уходили. Одичавшие, усталые, продрогшие, тащились конные и пешие бойцы от селения к селению, неукоснительно исполняя приказание Ольгерда Гедиминовича: предавать огню каждое людское жилище, встретившееся им на пути. Дело шло не по добру. Ольгерд отдал строжайшее распоряжение: любутской дружине позади войска не идти, а быть неотлучно при его особе. Так и тащились любутцы три дня за виленским пешим полком, изредка давая коням возможность согреться рысью. Уже остались позади московитские погосты. Ольгердово воинство подходило к границам Смоленского княжества.

Ослябя сразу позабыл название того несчастного селения.

Мирные пахари встретили их на околице. Старшина, трясая седой бородёнкой, протянул каравай и немедля получил в лоб арбалетный болт. Вломились в сельцо подобно волчьей стае. Не пропустили не одной избёнки, заглянули в каждую клеть, в каждый сарай, обшарили бани и овины.

Викула Пичуга, стародубский дружинник, носился по сельцу, как оглашенный. Гоготал, плевался, распахивая снующих под ногами кур. Вламывался в избы. Орущих баб хватал за лица раскрытой пятерней, мужиков попросту бил обухом секиры. Рылся в крестьянских закромах, выгребая ценное добро, тащил вон из избы, кидал в розвальни всё без разбору. В розвальни он запряг пару неплохих коней. Кони эти также являлись его, Викулы, законной воинской добычей. Он видел, как вошла в сельцо ненавистная любутская дружина. Ах, старый потрох, ах Пёсья Старость. Знаменосец он, видите ли! Да, конь у него неплохой. А это не Егор ли Дубыня? Гляди-ка, жив! Но – погодите! Попомнишь ты, Лаврентий, как пинал Викулу в пах. И Дубыня получит своё за развороченный розгами Викулин зад. Разве спря-

таться за избу и подбить кого-нибудь из них арбалетным болтом? В суматохе грабежа кто станет разбирать, почему да отчего пал любутский вояка. Но как оставить добро? В руках Викула держал связанные бечевой, отменно выделанные куньи шкурки.

Так стародубский вояка отвлёкся, завозился надолго с куньими шкурками, добытыми в избе сельского охотника. Надо ж спрятать добытое от товарищей, надо ж в сохранности до родимого домишки доставить! Пока ковырялся Викула в своих розвальнях, любутской дружины и след простыл. Потом, напрочь позабыв о мести, Викула принялся ловить буланого жеребчика, заполошно метавшегося между горящими постройками, потом подрался со здоровенной бабищей, нипочем не желавшей отдавать ему новые, пахнущие дёгтем валеные сапоги. Потом вознамерился забраться на кровлю чудного терема, дабы снять оттуда вырезанную из медного листа пичугу. Бросив в снег арбалет, белкой проворной он влез по столбикам крыльца на крышу сеней. Цепляясь застывшими пальцами за резные ставни, оскальзываясь, взобрался на кровлю терема. Как же достать петушка? Эх, нет под рукой ни палки, ни копыя! Глянул вниз, а там уж кто-то подкатил на вычурно разрисованных санях. Вот возница вылез из саней, вот ходит-бродит вокруг его розвальней. Что-то стащить примеряется? Вот поднял арбалет...

– Эй! – не выдержал Викула. – Оставь моё добро! Я Дмитрия Ольгердовича дружинник! А ты чей, грабитель?

В ответ ему, снизу понеслась потоком непотребная брань. Викула задохнулся от гнева, потерял равновесие, завертел головой в поисках опоры, осел на зад да и застыл в изумлении. Узрел стародубский арбалетчик за огородами, возле риги врага своего, любутского боярина Ослябю, в обнимку с девкой. Вот те на! Никто и никогда не видывал, чтобы Андрей Ослябя с бабой миловался. А тут смотри-ка: обнял, на руки поднял, зачем-то к риге несёт. А что за девка-то? Острый глаз стрелка рассмотрел и косу русую, и шубу парчовую, и юное бледное личико. Не та ли это девка, которую Марзук давеча Довмонду сторговал? Зачем же она Ослябе-то понадобилась? Да они ж оба в крови! Ни жив ни мертв смотрел Викула, как боярин Ослябя поджигает ригу, полную перепуганных поселян.

– Эй, пёс брехучий! Чего пасть разинул? Блохи в язык вцепились? Чего узрел там? Нешто собачью свадьбу? Поучаствовать желаешь? Тогда слезай с крыши! Побегай за обчественной сукой!

Так и остался Викула без петушка. Скатился с крыши кубарем, штаны порвал, ушибся так, что искры из глаз посыпались. А тут ещё Марзук-мурза откуда ни возьмись чёрным вороном налетел. Оказалось, что возница вороватый есть прислуга татарского царевича. А Марзук-то вопит, слюною брызжет, страшными карами грозит, ножонками больно пинается. От горшка два верша, а не слабый. Не дает Викуле на ноги подняться.

А поодаль уж взметнулось над заборами злое пламя. Вой, вонь, ужас!

– Что это? – Марзук-мурза замер, на дым-полымя узкими глазенками уставился. Даже пинаться, сволочь, перестал.

– Там боярин Ослябя дела чёрные вершит, – заблеял Викула. – Девоч да баб в риге поджег. И ваша боярышня, девица-умница, вся в крови.

– Эй, Матюха! Сади меня в сани! Вези, гони! – заорал Марзук-мурза, опаматовавшись.

Про Викулу позабыли. Но Викула оказался не так прост.

* * *

Виленские дружинники сгоняли пахарей, понукая их древками копий. Молодые парни и девчата попытались разбежаться в разные стороны. Всадники гонялись за ними, как охотничьи псы за лисицами. Двоих парней, подростков, изрубили палашами, третий получил копье под рёбра. Девчат ловкие наездники на скаку хватали за косы и волокли к риге. Вьюж-

ный ветер разносил по округе визг младенцев и женский вой. Нагнали народу полную ригу, перепуганные поселяне стояли тесно, плечом к плечу.

Пока суд да дело, виленские воины шарили по домишкам, вытаскивали наружу добро и лежащих стариков. Этим убивали быстро и беспощадно. В суматошной беготне, криках ужаса, предсмертных столах, ржании коней и лязге металла Ослябя не сразу приметил Настёну. Простоволасая, в новой атласной шубке, с выражением невыразимой муки на лице, она сидела на снегу, привалившись к боку изукрашенных богатой росписью княжеских санок. Ослябя склонился с седла, старался как мог говорить ласково:

– Как живёшь-поживаешь, дитя? Спряталась бы под полость. Там и теплей, и безопасней. Так даже виленскому вояке внятно будет, что ты Марзука-мурзы добыча, и тебя не тронут.

– Я более не чудищу принадлежу. Чудище меня господину Довмонту запродаю. Уж и деньги сполна получило. Видать, дорого я стою, кошель тяжелым оказался.

Внезапно она заплакала. Пришлось спешиться, усесться рядом с нею на снег, пристроив меч поперек колен. Ослябя был без латных доспехов, в старой шубе поверх кольчуги, в юфтевых сапогах. Левой рукой он обнял девочку за плечи, притянул к себе. Ах, это давно забытое чувство. Сердце дрогнуло, сбилось с ритма, затрепетало подобно копейному вымпелу на ветру.

– Я не глянулась Марзуку-мурзе. Уж он и вертел меня, и щупал, и целовать себя принуждал. А я... Что я? Не смогла, не сумела. Тогда он обозвал меня прачкой и господину Довмонту запродаю. Они баяли, будто я только прислужницей быть способна... В ихнем храме в Вильно стану жить...

Пока она говорила, Ослябя извлек из голенища огромный обоюдоострый нож. Крови пролилось немного.

Он нёс Настасью к риге, стараясь прижимать её грудь к своей так, чтобы не видно было ни раны на шее девушки, ни багровых пятен на полах его шубы. Вокруг сновали виленские ратники, пешие и конные, видел он смутно и цвета брянской дружины. А свои, любутские, по счастью, куда-то поразбежались. Всё были заняты грабежом, про ригу, полную перепуганных поселян, вовсе позабыли. Поселяне же всё стояли в риге, склонив бесталанные головы, опасаясь ослушаться, надеясь, вознося молитвы.

Рига встретила его истощным воем перепуганных людей. Но он будто оглох. Не дрогнув, положил девушку за порогом, под ноги пахарям, снял с плеч окровавленную шубу и накрыл ею мёртвое тело, затворил ворота, заложил засов, обернулся. Дмитрий Ольгердович смотрел на него с высоты седла. Его островерхий шлем подпирал низкие небеса, седящая борода крупными кольцами вилась по складкам лазурного плаща. В руке князь брянский держал обнаженный меч. За широкою его спиной стояли ближние бояре и дружинники – все в дорогих доспехах, при полном вооружении, на хороших конях. Над их шеломами реяло алое полотнище «Погони».

– Я вижу ты, Ослябя, задумал очиститься от подозрений, отправив на небеси души полсотни смердов? Неплохая затея, одобряю. Шершень, подай-ка боярину факел!

Ослябя обошел бревенчатый сруб по кругу. Всюду под стенами были разложены пуки сохлой соломы. Он поджег каждый. Не пожалел огня и для соломенной крыши. Рига бойко занималась, крики и стон внутри становились всё громче. Когда он вернулся к воротам, брянского князя и его свиты след простыл. Зато объявился Марзук-мурза, прикатил на розвальнях. Хмурый возница ссадил царевича на истоптанный снег. Ослябя хохотал, наблюдая бешеный бег татарского царевича. Марзук-мурза спешил, мчался вскачь, казалось, ещё чуть-чуть – и его кривенькие ножки, обутые в красный сафьян, перестанут касаться земли. Ещё немного – и весь он без остатка изойдет на истощный вопль.

– Что творишь, Ослябя! Где моя девка? – верещал Марзук-мурза. – Шуба, сапоги, самоцветное ожерелье, ленты! Все пропало! Всё сгорело!

– Зачем так гневаешься, царевич? – усмехнулся Ослябя. – Не горюй о шелках и лентах. Горюй о загубленной душе. А сейчас, в чистом полымени, возносятся души из царства страданий на небеса, дабы обрести там вечную жизнь.

– Наконец-то! – завопил Марзук-мурза. – Наконец ты выказал, боярин, своё настоящее лицо! «Палач, палач!» – кричали они о тебе. Не-ет, ты не палач! Ты убийца, невинных душ губитель, нехристь!

– От нехристя слышу! – пробормотал Ослябя.

Он смотрел на пылающую ригу. Уж перестали дрожать под ударами запертых в ней людей тяжелые двери. Затих женский вой и плач младенцев. Марзук-мурза бегал взад и вперед вдоль бревенчатых стен, часто-часто перебирая короткими ножками. Теплая зола скрипела под его алыми, отороченными бархатом сапогами.

– Ай-яй! – верещал Марзук-мурза. – Где же девица? Сожгли?! Погубили?! Ах вы, русское племя бесталанное! И всего-то у вас вдоволь, и не бережете-то вы хорошего добра! Настасьюшка, лён и шёлк! Погубили! Погубили!

Марзук-мурза подбегал к Ослябе, смотрел снизу вверх косыми черными очами, топорщил бородёнку, скалился озлобленно.

– Зачем добро уничтожил, боярин? Это мне Его Величие девицу подарил, мне пожаловал! Ах, Настасьюшка, лён и шелк! Я уж и кошель за неё получил! Уж золотишко сосчитал! Ай, Довмонт будет недоволен! Ай, драться станет!

– Хочешь вернуть Настю? – спросил тихо Ослябя.

– Вернуть! Ах, скоро ли снова такую кралю удастся добыть? А золото?! Вернуть! Как её вернешь?!

– Вернем, – заверил Марзука-мурзу Ослябя. – Нам всякие дела по плечу, а такое – тем более.

Ослябя скинул с руки латную рукавицу, подхватил Марзука-мурзу сзади за кушак, шагнул в сторону пылающей риги. Татарский царевич сучил ногами, ударяя каблуками в подол Ослябевой кольчуги, пытался извернуться, чтобы тыпнуть боярина зубами. Соболя шапка слетела с его головы, обнажив бритую макушку. Царевич верещал и плакал на всех известных ему наречиях. Призывал на помощь и Пяркунаса, и Непорочную Деву, и ещё каких-то не ведомых Ослябе богов. Пришлось стукнуть царевича рукоятью кинжала по голове. Марзук-мурза затих, повис кулем, из-под полы его кафтана вывалилось блюдо – отполированный листок меди, украшенный по краям затейливой чеканкой.

Ослябя бродил в клубах черного дыма вокруг пылающей риги с бесчувственным царевичем под мышкой пока не обнаружил подходящую щель между обугленных брёвен. Непереносимый жар и смрад горелой плоти в последний миг вернул Марзуку-мурзае ясное сознание. Ослябя видел его разверстый в вопле рот. Последний крик царевича утонул в гудении пламени. Ослябя затолкал Марзука-мурзу в прореху между бревен, отскочил, повалился на спину. Он валялся и крутился в снегу, словно пёс, остужая раскаленную кольчугу, превращая чёрный от копоти снег в талую воду.

* * *

– Чудно мне! – ухмыльнулся Довмонд. – Как могло случиться, что царевич сам полез в пылающую ригу? Ведь он не воин!

– Не воин! – подтвердил Ослябя. – Но он жаден до добра, потому и полез. Твои люди, Довмонд, по недосмотру заперли в риге его рабыню – Настёну. Видно, Марзуку очень уж не хотелось возвращать тебе казну. Он девицу надеялся спасти, потому и полез.

Довмонд стоял, опираясь на копьё. Разглядывал придирчиво дымящиеся руины. Волшебное зеркало Марзука-мурзы, очищенное от копоти, но изрядно погнутое он без церемоний заткнул за пояс. Вокруг пожарища сновали дружинники. Вооруженные топорами и баграми, они пытались растащить обугленные бревна, но те рассыпались в прах, стоило лишь кованому железу прикоснуться к ним.

– А вот мы посмотрим в зеркальце! Этим же вечером и посмотрим, как только стемнеет. Я видел, как это делал Марзук-упокойник. Возжигал лучину, наливал в плошку водицы и давай камлать-бормотать. Может статься, сам Марзук нам в зеркале явится и поведает, кто его убийца, кто кошель с деньгами у него отобрал, а самого в огонь сунул!

Но Марзук-мурза Довмонту не явился, зато вышел из-за плетня стародубский стрелок Викула. Вышел, в пояс боярам поклонился, пал в кровавый снег, заныл, лица не поднимая:

– Коварное злодейство свершилось! Нехорошие содеялись дела!

– Что ты мелешь? – изумился Довмонд.

– А то мелю, что боярин любутский, Андрей Ослябя, собственность твою, девку Настасью, в риге сжег. И Марзука-мурзу тож.

Ослябя и не думал сопротивляться. Сам отстегнул от пояса ножны, сам бросил в кровавый снег шелом, сам дался в руки виленским дружинникам, ловко скрутившим новообъявленного злодея. Лаврентий со товарищи схватились за мечи, но, повинуясь единому взгляду своего боярина, оставили оружие в покое, отошли в сторонку.

– Береги Севера и Ручейка, Лаврентий! – крикнул Ослябя, оборачиваясь.

* * *

Его вели к временному жилищу Ольгерда через всё сельцо самым позорным образом: волокли на веревке, со скрученными сзади руками. По дороге заметил Ослябя высокие костры, поставленные вкруг, груженные добром сани, а над ними, на торчащем из утоптанного снега древке – стяг Смоленского княжества, златоперую птицу на блеклом фоне пасмурных небес. Немногочисленное смоленское воинство расположилось отдыхать на центральной площади селения. Тут же на скорую руку соорудили загон для мычащего и блеющего скота. Сам Святослав Иванович Смоленский также был здесь – невысокого роста и некрепкий на вид, он слыл неутомимым бойцом и деятелем. Его неизбывные метания между Москвою и Литвою, его попытки сохранить свою вотчину целостной и нераздельной доставили ему славу отважного предателя. Смоленский князь гарцевал на длинноногом, украшенном богатой сбруей коне, озирая внимательным взглядом и дружину свою, и добычу, выискивая новую поживу в разорённом дотла селе.

– Ослябя, ты ли это? – смех князя Святослава потонул в треске высокого костра. – Неужто и тебя взяли в полон, прощелыга? Говорил я Ольгерду Гедиминовичу, и не раз говорил: странный ты человек, ненадежный, предатель.

– По своей мерке меришь? – усмехнулся Ослябя.

– Поговори! Поблажи напоследок! – оскалился Святослав. – Не думаю, что ныне твоя жизнь днями измеряется. Рассвет встретишь на колу, витязь. Узнаешь тогда, каково было тем, кого ты замучил.

* * *

На устланных коврами лавках расположились Ольгердова свита: Дмитрий Брянский, Фёдор Балий, Довмонт, Симеон, Нирод Эриборович. Ослябя избавили от пут, но Довмонт и Симеон держали наготове обнаженные мечи. Дмитрий не преминул попенять отцу на нарушение правил великокняжеского совета. Зачем он, сын Ольгерда, князь Брянский, и его

ближний боярин оставили оружие за порогом, а худородные Довмонт и Симеон вошли на совет с обнаженными мечами в руках? Ольгерд на упреки сына отвечал угрюмым молчанием и смотрел в сторону – туда, где в очаге потрескивали, плевались расплавленной смолой сосновые поленья.

– Я почитаю тебя, как храброго воина, Ослябя, – вымолвил наконец Ольгерд. – Я почитаю тебя, как отважного разведчика и верного слугу. Ты ведь мне на верность присягал? Присягал! Крест целовал? Целовал! Больно мне, трудно в тебе усомниться. Но, горе мне, я сомневаюсь. Сомневаюсь! Растёт моя добыча, редет моё воинство! Признавайся, боярин, что замыслил?

– Замыслил волю твою исполнить, – отвечал Ослябя, хмуро потирая затекшие от пут руки. – Жечь быстро, убраться восвояси, пока Митькино воинство нас не нагнало.

– Непрост ты, Ослябя, – проговорил Довмонт. – Непрост и коварен!

Они были одних лет: Ослябя и Довмонт, русич и литвин, христианин и язычник. Они были одного роста, равны силой и отвагой. Оба клялись в верности великому князю Литовскому и Русскому. Не раз и не два удавалось Ослябе обвести отважного Довмонта вокруг пальца. А ныне стоит Ослябя перед противником безоружный, без кольчуги, словно обнажённый, и простоватый Довмонт свидетельствует против него. И чем-то закончится этот суд? Как бы то ни было, Ослябя решил наперед: не станет он больше литовского боярина щадить. Довмонд своё отслужил, отвоевался. Пора, пора и ему принять объятия сырой земли.

– Я свидетельствую! – Дмитрий Брянский поднялся на ноги. – Сам видел, отец, как Марзук-мурза в пылающую ригу полез. Очень уж не хотелось татарчонку кошель с деньгами Довмонту возвращать.

Ослябя заметил, как после этих слов брянского князя Федька Балий по-тихому, бочком, покинул великокняжескую горницу. Заметил, как беззвучно затворилась за Федькой дверь.

– Призови Викулу, великий князь! – прорычал Довмонт. – Пусть он перед тобой повторит говорённое мне!

– Викула – земляной червь, жила подпупная! – вскипел Ольгерд. – Не удивлюсь, если он уже сбежал! А если и отыщется, не стану его допрашивать! Не верю! А ты, Ослябя, помни о крестном целовании! Помни и ступай с Богом!

Наверное, смоленский князь Святослав не признал Ослябя в полумраке сеней, а признал в последний момент – когда почувствовал, как горло, беспечно освобожденное от защиты лат, сдавливается ледяной хваткой Ослябевоу десницы и когда над самым ухом послышался шипящий шепот:

– Попомни, Святослав: не быть мне мёртвым, пока тебя, паскуда, не увижу в петле. А коли приспееет нужда тебе снова ненужные слова произносить, помни: Ольгерд Гедиминович пока не знает, как ты прошлой осенью до Москвы таскался, как у митрополита и Митьки в ногах валялся, милости вымаливая. Не потому ли ты в этот раз под московскими стенами роскошной сброей не бренчал, что надеешься ещё на противную сторону переметнуться? Думаешь, после этого примут тебя в московские союзники?

Святослав судорожно глотал пропахший хлебной закваской и сухим берёзовым листом воздух сеней. Перед глазами плавали цветные круги, но, по счастью, внезапно дверь отворилась из светлицы, и темнота сеней рассеялась колеблющимся светом факела. Ослябя отпустил Святослава. Смоленский князь закашлялся, задышал шумно, растирая болевшую шею пальцами.

– Кто здесь? – прозвучал вопрос.

Распахнулась на мгновение и захлопнулась за спиной Осляби дощатая дверь, ведущая на двор. В сенях запахло уличной свежестью, сдобренной дымным душком.

– Святослав Смоленский, – ответил Святослав Иванович, судорожно глотая морозный воздух.

* * *

Викула умер быстро. Федька Балий не пожелал марать византийский клинок. Дело совершил тесак Пёсьей Старости. Выпотрошенный труп Викулы оттащили в лес. Глубоко закапывать не стали. Привалили валежником, припорошили снежком, обнажили головы, повздыхали, перекрестились и отправились восвояси.

Бегал по лагерю неугомонный Довмонт, рыскали его дружинники, расспрашивали. Многие видели Викулу Пичугу, сейчас видели, только что. Вот розвальни с его добром, вот место его у костра, вот не остывшая ещё его каша. Отлучился, видать, до леска, по нужде.

* * *

Дружина встретила Ослябю единодушным вздохом облегчения. Тут же, как по волшебству, возникла посудина, полная до краев горячей ухой, и чаша хмельного мёда. Началась тихая неспешная беседа. Со всех сторон светились дружеские взгляды. Ослябя, против обыкновения, от питья отказываться не стал. Выхлебал и уху. Товарищи расспрашивали, и он что-то им отвечал, но вот дальше не заладилось. Ему предлагали сухую, промерзшую краюху – последний их хлеб, но он отказался. Набросили на плечи медвежью шубу, но он сбросил её, ушел в лес. Сам не помнил, где бродил и зачем. Хмельной мёд огненными потоками тек по жилам, обильные слезы превращались в иней на щеках и бороде. Так бродил Ослябя до рассвета, потом нашел местечко в затишке, под корнем поваленного бурей дуба, усёлся, притих, припомнил, позвал:

– Агаша, как далеко ты от меня! Словно и не было тебя, словно во сне приснилась. Порхнула певчей скворушкой и сгинула.

Их сосватали ещё в младенчестве. Дергая босоногую, шустрюю девчонку за косу, Андрей Ослябя знал – Агафье, и никакой другой, быть его женой. Ох, и спорщица же она была! На каждое его слово свое поперёк говорила. Бывало, ссорились. Бывало, сметал он разгневанной десницей горшки и плошки со стола единым широким махом. А жена всегда первой мирилась, горячо обещая белее не спорить, даже если муж неправ был.

Теперь же он стал забывать её лицо. Помнил лишь, как ходила она провожать дружину. Как шла версту за верстой, держась за его стремя. Как смотрела снизу вверх внимательным, строгим взглядом. С таким же выражением смотрела Агафья на своих младенцев. Что на личике за пятнышко? Зачем носик морщится? Не болен ли? Нет ли жару? Таким, таким хотел он помнить её лицо! И давно уж решил для себя – коли забудет, так и не жить ему тогда.

А дети? Неужто можно забыть, как пришли они в этот мир один за другим, как шлёпали по половицам их босые ступни, вырывая Ослябю из объятий утренней дремы. Полон был его терем, из каждого окошка выглядывала русоволосая головка. Где теперь его терем? Сам и сжёг, не в силах видеть это жильё опустевшим. Один лишь Север остался – памятка о прошлой жизни, родня, выкормыш родимый.

Ослябя не верил смерти, не боялся, когда Север нёс его от Вильны до родного Любутска. Молод был тогда, верил своей силе, верил удаче, а на Бога слишком уж не надеялся. Так было до той ночи у чумного рва, когда Бог напомнил о себе, не дал помереть, зачем-то на этом свете оставил. Зачем? Кто теперь знает, каков был прежде Андрей Ослябя? Разве что Лаврентий, если не забыл ещё. Кто помнит тепло его объятий? Кто не боится?

Смутно припоминал Ослябя, как бродил до темноты вдоль чумного рва, силясь угадать, где, в какой его части схоронены родные – мать, жена, сыновья, дочери. Один лишь Север

был рядом тогда, ходил следом, тыкал мордой между лопаток, опускал тяжелую голову на плечо, вздыхал жалостно.

* * *

Из рукописи, сожженной воинами Тохтамыша, потомка Джучи, в году 1382-м от Рождества Христова:

«...В пятницу прислал ко мне митрополит служку своего Викентия. Викентий этот, тварь беззубая, но не вредная, передал распоряжение Его Высокопреосвященства владыки Алексия: явиться чуть свет с перьями и бумагой.

Я приуговлялся заранее:

Во-первых, не пошел я к Варваре-кабатчице, как намеревался.

Во-вторых, обрезаю три дести²² бумаги, чтобы наверняка хватило.

В-третьих, очинил перья и залил в скляницу чернила.

В-четвертых, прочитал пять раз „Богородица, радуйся“.

Абрашка разбудил меня до света. Зажгли лампадку, помолились, поели хлеба, кваску испили и потрюхал я, грешный, на митрополичий двор. А на улице уж светлынь, досочки под ногами качаются, гудут. Народ со дворов вываливается кто с чем. Спешат на посад на субботнее торжище. Седьмой час утра, а на улице не протолкнуться. Плечами так и месят. Как ножки мои в сутолоке истоптали, так я и проснулся окончательно. На митрополичий двор взойшел совсем уж бодрый. А там меня Алексиева челядь во светлую горницу сопровождала, за стол дубовый усадила. Я прибор свой разложил, стал владыку поджидать, и тот не замедлил явиться. Ах, если б мог я, грешный, решиться величие митрополичье словами изъяснить, то сказал бы непременно так: велик ростом, сух как ветла осенняя. Владыка Алексий пронзителен взглядом и благолепен чертами, серьезною бородою украшен, облачен в великолепные одежды²³. Поступь имеет плавную и стремительную, говорит внятно и велеглаголиво. Ум его быстр и изощрен, вера тверда, честь не запятнана. Иной раз, вечеряя одиноко в своем убогом закутке или предаваясь урочной молитве, пытаюсь я извлечь из памяти образ его великолепный. И каждый раз возникает одно и то же отрадное видение: старец премудрый и прекрасный, высоким чёрным клобуком увенчанный²⁴. В правой руке он держит крест простой чугунный, изысками срамными не приукрашенный, в правой же сжимает обоюдоострый меч.

Грешный я, болтун несусветный! Отвлекся я мечтаниями, преступному словоблудию предался! Вернемся же, братия, в митрополичьи палаты.

Писал я грамоту жуткую об отлучении от церкви православной князя Смоленского Святослава Ивановича, неуёмного грабителя. Нет! Не намерены в Москве прощать вины союзников и подстрекателей Ольгерда великозлобного. И отец литовского правителя, и сам Ольгерд – звери дикие, принуждали смолян немощных действовать по своей указке. Но так грабить, так бесчинствовать! Эх, незавидная участь Святослава Ивановича, убогая

²² Десть бумаги – лист формата А4.

²³ В повседневном обиходе, вне богослужения, митрополит носил однорядку до пят из дорогого сукна.

²⁴ Белый клобук в XIV веке носил только архиепископ Новгородский и Псковский Василий.

его доля, постыдная! Скрепили грамоту митрополичьей печатью. Вестник скорбный вложил её в суму и, сопровождаемый вооруженной свитой, отправился в Константинополь, к Святейшему патриарху...

...Яшка – недоросль, не дозволил мне проспаться. Растолкал, стащил с лежанки, за ноги подергав. Как ухнулся я об пол жилистым седалищем, так тотчас же проснулся и незамедлительно прогневался. Но Яшка-проказник хитроумный о грехе гневливости неуместной вовремя мне напомнил и своё поведение непочтительное объяснил. В тот день провожала Москва честную дружину на Брянщину, воевать князь-Дмитрия, сына Ольгердова. Мутным, нетрезвым оком взирал я на блещущие латы, на коней холеных, на острия копий, во свете летнего солнышка блещущие.

Шла дружина под водительством почитаемого мною воеводы доброго и друга сердечного Боброка Волынца. Щедрый человек, великий телом, премудрый, прямодушный, отважный! Уж как я люблю схватиться с ним при случае в потешном поединке, размять кости, силушку испытать! Лишь его меч тяжелый, лишь его ум великий способны меня, грешника, с коня сверзить и подвижности лишить. Бог в помощь! Пусть прибудет ему удача родину мою многострадальную вернуть в лоно Алексиевой милости и присовокупить ко княжению Московскому. Яшка-недоросль, конечно, попрекал меня нетрезвием и к делам московским небрежением, за что и получил тяжеловесную затрещину. Но в чем же, братия, мое небрежение? Не я ли восстал, преодолевая дурноту и усталость? Не я ли молился усердно на удачу благодетеля и друга моего Боброка Волынца? Не я ли наставлял его витязей длинной Дрыною своею?..

...А из Твери пришли вести малоприятные. Михайла, плаксивый и гордый родственник кровавого Ольгерда, столицу свою вздумал укреплять. Люди бывалые говорят, будто за лето срубил он новую крепость, обмазал её глиной и даже побелил. Чует, собака, возмездие неминуемое! Да, есть ему от кого защищаться. В самом их тверском доме идет свара непрестанная. Узнав о строгом наказании смолян и моих земляков несчастливых, прислал Михайла в Москву своего епископа – перемётную суму, с просьбой о мире и любви. И смех, и грех! Владыка Алексей посла принял, отчитал примерно за потакание княжеским сварам, за малодушное пособничество сильному, но не правому. Мне, многогрешному, тако же досталось, за пьянство и неводержанность рук, часто и повсеместно силу неумную применяющих. И поделом мне! В завершение беседы владыко повелел мне отправляться в Тверь вместе с посольством.

...До Твери добирались семь дней. Во главе посольства – воевода Василий Иванович Березуйский. Рядом – дружинники. Всё на хороших конях, а над головами Спас Нерукотворный на чёрном²⁵ полотнище трепещет. Позади воинов – Климент Тютя, дьяк тысяцкого Василия Васильевича Вельяминова, на полуживом мерине да я, грешный раб расписного ковша, на своём Радомире.

В Твери нас приняли с небывалым почётом, угощали-потчевали и всячески ублажали. Я, однако, нашел в себе силы от хмельного пойла отказаться, чем вызвал удивление и насмешки богомерзкого выползня Климента Тютя, решившегося меня новообращённым трезвенником

²⁵ Чёрный – багровый, багряный.

обозвать. Обидно мне сделалось, злобно и мстительно. Достал было я из ножен длинную Дрыну мою, но употребить на вразумление Тюти не решился, взглядом Василия Ивановича окороченный.

Рассмотрел ещё раз уже знакомого мне князь-Михаила. В высоких палатах, на резном престоле выглядел он не так уж жалко. Ничего себе мужчина, лицом вполне благолепный, телом статный и сильный, но очень уж гордый. Принял нас поначалу ласково, говорил заискивающе, словно недоросль напроказивший. Обещался впредь против Москвы не злоумышлять и во вражеских набегах не участвовать. Но Василий Иванович объявил ему торжественно, что отныне между Москвой и Тверью мира нет.

Выполнив поручение, мы следующим же утром, невзирая на хмарную морось, отправились восвояси.

Едва дойдя до города Москвы, получаем новое известие: Михайла Александрович Тверской покинул Тверь, бежал в Вильно к зятю своему, Ольгерду. Снова здорово!

Часто, часто думаю я и размышляю и так, и эдак. То на лицо выверну деяния житейские, то с изнанки пытаюсь на них посмотреть. Никак не поймёт моя бездарная башка, куда мир этот движется. В чем Божий промысел и где сатанинские изыски? Странно, непонятно, горестно. Почему одно и то же непременно в нём дважды повторяется?..

...Вот настала зима, потемнело, завьюжило, завалило улицы сугробами: не проехать – не пройти...

Третьего дня я переметнулся. Снова из добродетельных слуг митрополичьих в рабы расписного ковша определился. И как было воздержаться, если вернулся из дальней стражи Никитка Тропарев, мой набольший приятель.

Давно уж мы сговорились, что, как только подрастет мой Яшка, станет он вместе с Никиткой и его ребятами в дозоры ходить, службу нести на благо и процветание великокняжеского дома Московского...»

* * *

Сладко кружилась Сашкина головушка, весело ему сделалось, тепло и улыбчиво. Печёные караси на расписном блюде, пареная репа, остатки каши уже не радовали его взгляд – Сашка был сыт. Совсем другое дело – наполовину полный кувшин со сдобренной пряными травами, смородиновой брагой. Этот сосуд влёк его неотвратимо, не позволяя покинуть кабак. Да и только ли в выпивке дело? А как же лучший друг Никитка? Вот верный наперсник, вот душа родная! Наконец-то вернулся, живой и ещё краше прежнего. Да с добычей, с хорошей деньгою. Вот и засели они в кабаке, жизнь и удачу праздновать.

Где-то неподалеку бренчали неровно гусельки, разбавляя неровным перепевом своим гул нетрезвых голосов.

– Значит, Никитка, не позднее пятницы? Э?

– Да-а-а, никак не позднее... Слуш, Сашка, а где же мой тулуп?

– Зачем тебе тулуп, детинушка? Тут жарко натоплено!

– Дрыхнуть пойду, Сашка. Проспать надо, не то...

– Куда пойдешь? Ложись здесь, на лавку, детинушка...

– Не-е-е-е, Сашка. Тут смрадно, душно, народ разный шатается. Опять же тараканы. В прошлый раз, помнишь ли, как мне в рот два таракана забежали?..

– То не тараканы были, дитятко...

– А кто ж? Кто? Ну да бог с ними! Не хочу один спать – вот в чём дело!

– Зачем «один»? А я? А со мной?

Никитка так захохотал, засучил обутыми в козловые сапоги ногами так рьяно, что тараканы и блюдо на столе начали подпрыгивать, а кувшин с брагой так и вовсе опрокинулся. Но ловкая рука Сашки Пересвета не дала ароматной влаге излиться попусту.

– А за титьки дашь себя потрогать? – сквозь хохот проговорил Никита.

– Чего?

– А в уста меня поцелуешь? А слова ласково-блзнительные в ухо моё мохнатое нашепчешь?

Даже валяясь на земляном полу, под ногами у повскакавших с мест посетителей кабака, с окровавленным носом и разбитой бровью, Никита продолжал смеяться. Трое молодцов повисли у Пересвета на плечах, но тот уже разжал громадный кулак, уже дышал спокойно, говорил слова разумные:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.